

0-38

№ 4 1977

ОКТАБРЬ - ДЕКАБРЬ

ОГНИ

КУЗБАССА



у нас в гостях
журнал

PALŐCFÖLD



Золтан Суйо. ИСТОРИЯ

ОГНИ КУЗБАССА

0-38

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 29-й



390400

№ 4 (57)

В Н О М Е Р Е

НАШ СОВРЕМЕНИК

Федор Ягунов. Семь тревожных минут. Очерк . . . 3

СЕМИНАР МОЛОДЫХ

Стихи

Владимир Иванов. «В пору ту, когда согрета почва»
«Поздний час, тишина на дворе...» «В небе стаи курлычат
прощально...» «Подобрал я ее у болот...» «И снова веселая
встреча...» «Засыпает дальний поезд...» Приятель. Начало
лета. 32
Иосиф Куралов. Кот печальный и суровый. Весна . 35
Леонид Торгаев. «Мы топчем безжалостно травы...»
Осенний мотив. Утро. Весна 35

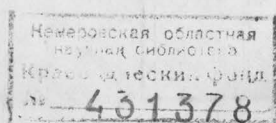
Рассказы

Владимир Власов. Эхо. Техник Валька 12
Владимир Мазаев. Багульник — трава пьяная . . . 24
Афанасий Гуковский. Неприкосновенный Запас . 57
Юрий Соломонов. Как шахтер дядя Федя отдыхал в
Доме творчества писателей 70

У НАС В ГОСТЯХ — ЛИТЕРАТОРЫ ВЕНГРИИ

Стихи

Лайош Папп. Их тела стали звездами. Поэма . . . 37
Ференц Ханн. Город 40



Иштван Тамаш. Палоцфельд. Туманом дышат. Пузырьки	42
Бела Вихар. На вечерних прогулках	43

Рассказы

Михаль Баба. Посылка	45
Йожеф Пал. Люди с окраины	48
Эндрэ Герельеш. Показание	50

ПУБЛИЦИСТИКА

Элемер Тот. Новый хозяин искусства	53
--	----

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ

Владимир Шабалин. За свободную Венгрию.	79
---	----

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Юрий Калягин, Валентин Махалов. Ты идешь по таежной тропе	83
---	----

СЛОВО — КРИТИКЕ

Василий Вешняков. Ветка рябины	91
Владимир Кузнецов. Этот капризный жанр	94

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

Борис Рахманов. На пне. «Аукну кукушке...» Рыбища. Была ли ты? «Из сундука рубаху вынул...»	100
Содержание альманаха за 1977 год	102
На 1-й стр. обложки: <i>Скульптурная группа на площади Шальготарьяна.</i>	
На 4-й стр. обложки: <i>Вид города Шальготарьяна.</i>	

Редактор **В. М. МАЗАЕВ.**

Редакционная коллегия: **В. М. БАЯНОВ, А. Н. ВОЛОШИН, Г. А. ЕМЕЛЬЯНОВ, В. В. МАХАЛОВ** (отв. секретарь), **О. П. ПАВЛОВСКИЙ, З. А. ЧИГАРЕВА, Г. Е. ЮРОВ.**

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр., 94.
Тел. 6-85-14.

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Т. И. Махалова; художественный редактор А. С. Ротовский; технический редактор Т. А. Парфеева; корректор В. А. Лузина

Сдано в набор 16.VIII.1977 г. Подписано к печати 11.XI. 1977 г. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 7,61. Уч.-изд. л. 8,55. ОП00022. Тираж 5000 экз. Заказ № 9792. Цена 55 коп. Кемеровское книжное издательство. Кемерово, 59. Ноградская, 5. Кемеровский полиграфкомбинат. Кемерово, Ноградская, 5.

О $\frac{0732-51}{M145(03)-77}$ —26—77

© Кемеровское книжное издательство, 1977

Наш современник

Федор Ягунов

СЕМЬ ТРЕВОЖНЫХ МИНУТ

Не знаю, пытался ли он изобрести велосипед, а сапоги-скороходы пытался. Но начинал он, конечно, с вечного двигателя. У него было семь классов образования, он несомненно знал, что давно уже доказана неосуществимость идеи вечного движения. И все-таки живет, видно, в человеке надежда невозможное сделать возможным, неосуществимое — осуществить. Истина старая: новое открывает тот, кто умеет не соглашаться с общеизвестным.

Он работал в ремонтно-механической мастерской. Знал великолепно все механизмы, какие были в то время на шахте. Умел быстро отыскать поломку, изготовить недостающую деталь. Была в нем какая-то природная сметливость и способность понимать душу машины. За это его поставили на должность механика. Сейчас бы без диплома не поставили, а в те годы такое еще случалось. Работал он самозабвенно. И все время искал — что бы такое изменить в привычном механизме, как сделать его лучше, надежнее. Фантазии и дерзости было у него — хоть отбавляй.

Когда он «изобрел» вечный двигатель, тут же прибежал к начальнику мастерской и потребовал, чтобы создала авторитетную комиссию, которая

документально увековечила бы тот факт, что именно он, Яков Гуменник, посрамил общеизвестные законы физики. Комиссию создавать не стали, просто начальник и еще один инженер посмотрели модель и в течение десяти минут неопровержимо доказали, что закон сохранения энергии и на этот раз не удалось поколебать. Правда, он не стал особо упорствовать, он был понятливый.

Но недели через две Гуменник не менее шумно оповестил всех о новом своем изобретении. На сей раз это были сапоги-скороходы.

— Это же все просто, — горячился он. — Делаем сапоги с утолщенным задником и амортизирующим каблучком. В задник помещаем небольшой цилиндр с поршнем. Резервуар с горючим крепится на поясе. Гибкие бензопроводы прячутся в брючных швах. Надо быстро перебросить дивизию — одеваем ее в сапоги-скороходы. Солдат ударит в землю ногой, поршень сожмется, вспышка горючей смеси, толчок и... солдат на другом берегу реки. Приземляясь, он подставит другую ногу, произойдет новый толчок. И, смотришь, дивизия уже за сто километров, свалилась как снег на голову противника!

Цеховой инженер, которому Гуменник первому поведал о своем «изобретении», не стал вдаваться в детали. Он на глазах Гуменника произвел простейший расчет, в результате которого оказалось, что ноги у солдата должны быть, по меньшей мере, из железа, иначе не выдержат и первого толчка.

Очередная неудача обескуражила бы кого угодно, только не Гуменника. Он согласился, что да, знаний у него пока маловато, но побежденным себя не признал: не тот характер. Уже будучи известным изобретателем, лауреатом Ленинской премии, он не избавился от своих мальчишеских выходок. Когда подарили ему списанный автомобиль-амфибию, ему, прекрасному механику, ничего не стоило заставить машину снова бегать и плавать.

Однажды кто-то из молодых шахтеров сказал ему, что амфибия, конечно, хорошо, но на мотоцикле быстрее.

— Давай, кто кого обгонит! — взвинтился Гуменник. Его отговаривали: в скорости амфибия действительно уступала мотоциклу. Но где там!

Устроили соревнование. Мотоциклист что-то поначалу замешкался, а когда, выжав из своего ИЖа все лошадиные силы, хотел обойти Гуменника, тот включил кормовой винт амфибии. Скорости, конечно, это не прибавило, но пыль, поднятая воздушной струей, заставила мотоциклиста отстать. На финиш амфибия пришла первой. И сколько бы потом мотоциклист не возмущался, общественное мнение было на стороне Гуменника: его дерзость и неожиданность поступков покоряли.

Когда он придумал своего «крота», то сумел заразить собственной одержимостью слесарей мехмастерских. Гуменник сам сутками не выходил из цеха и возмущался, когда ему напоминали: не хватит ли, мол, на сегодня,

и так пятнадцатый час спины не разгибаем?

— Перетрудиться боишься? — кричал он Рейтеру, самому преданному и самому необходимому своему помощнику. — Можешь уходить, один доделаю! — и вставал за токарный станок или слесарный верстак. Он забывал умываться, забывал есть. Он не мог понять, как это люди могут думать о чем-то другом, не о машине.

Анатолий Михайлович Рейтер — маленький усталый человек, давно на пенсии. Но как загораются его глаза, когда речь заходит о тех днях! Может быть, та отчаянная, самозабвенная, мучительная работа — самое светлое воспоминание в его жизни, в жизни его старых товарищей Фосса, Яуфмана!

— Когда наш «крот» прошел первые полметра, — Рейтер и сейчас волнуется, как бы переживая все заново, — мы кричали, плакали от радости, кидали вверх каски, рукавицы! А «крот» прошел еще полметра и сломался.

Но это было не так уж важно. Главное, что тот принцип, который Яков Яковлевич положил в основу, оказался верным. А принцип был прост как выведенное яйцо. Так кажется теперь, спустя много лет после того, как Гуменник сделал свое открытие. Сейчас многие думают, что все дело в случае, во внезапном озарении. По сути же — это был результат огромной напряженной работы мозга, когда всем существом своим, невидимо для окружающих, днем и ночью он искал решение. Во время аварии он ведь был не один, там вся инженерная служба перебивалась. Да ничего необычного по существу там и не происходило.

А случилось вот что. В дальнем заброшенном завалило людей. Надо было с нижней выработки срочно пробить печь туда, где в спертom воздухе задыхались, захваченные бедой, горняки.

Сделать это могли только опытные проходчики, мастерски владеющие кайлом — старинным инструментом шахтера. Скупыми взмахами, как бы даже неторопливо, проходчик клевал у себя над головой кровлю, а Гуменник в бессильном бешенстве сжимал кулаки: как медленно подвигается выработка! Эх, была бы такая машина, которая в считанные минуты прогрызла бы толщу породы и принесла извлечение людям!

Между тем, сменяя один другого, проходчики споро продвигались вперед. Клевки острого носика кайла, и очередной кусочек породы летит вниз. Снова удар — и отваливается еще кусочек. Умело, сноровисто, каждый раз в новое место направляет проходчик удар кайла. Говорят, что тогда-то и мелькнула у Гуменника мысль: в этом что-то есть. Именно клевки!

Все существующие до того времени угледобывающие машины — и врубовки, и комбайны — работали по принципу пилы. Они пилили, резали угольный пласт. А если сделать, чтобы как кайло? Удар-клевки — и каждый раз в новое место?..

Когда был создан комбайн, — не тот первый, не «крот», а знаменитый проходческий комбайн Гуменника ПКГ, установивший мировой рекорд проходки, — всем стало казаться: до чего же просто, странно, что никто до Гуменника не додумался!

...Я стою у подъезда Дворца культуры и напряженно вглядываюсь сквозь лениво, но густо падающий снег в конец площади — не появится ли там знакомая долговязая фигура. Впрочем, стоять на месте я не могу. Бегу через площадь. Снова возвращаюсь к подъезду. Мной владеет паника. Он должен был еще полчаса назад появиться здесь и найти меня в телевизионном автобусе. Через двадцать минут из зала этого Дворца начнется прямая телевизионная передача, где он

должен сыграть, может быть, самую важную роль. Сколько переговоров, телефонных звонков, сколько телеграмм с подписями весьма высоких лиц отправлено в Москву! А ведь прежде чем высокое лицо согласится поставить свою подпись на телеграфном бланке, сколько надо затратить усилий, чтобы убедить его, доказать, что это необходимо. И Гуменник приехал, он здесь, в этом городе, мы вчера виделись с ним. Что же произошло? Почему все летит к черту?

В зале не менее пяти сотен зрителей: горняки, их жены, гости. За сценой в ярких народных костюмах, готовые к выходу, танцоры, музыканты, певцы. В эфире к концу идет последняя передача, после которой на экране появится надпись «Показывает Новокузнецк», и мы должны начать свою полуторачасовую встречу с горняками объединения «Южкузбассуголь» по случаю награждения предприятия орденом.

Я лихорадочно ищу выход, прекрасно понимая, что его нет. Всему виной наша вечная спешка, вечная нехватка времени, особенно в последние дни перед выходом передачи. И еще — недоброжелательное отношение к нашей затее Генерального директора объединения. Вчера нам отказали в машине для поездки на шахты, где оставались еще десятки самых неотложных дел, связанных с предстоящей передачей. Разумеется, мы всеми возможными средствами стали добиваться, чтобы нам все-таки дали какой-нибудь транспорт. Наконец нам сказали, что туда идет микроавтобус с работниками орска, что они уже в машине и чтобы мы поспешили, если хотим уехать. Мы побежали одеваться. Внизу в раздевалке нас догнал один весьма ответственный работник объединения, которому было поручено помогать нам, но который пока больше обещал, чем делал.

— Вот — товарищ Гуменник! — В глазах ответственного работника нескрываемое торжество. — А вы говорите, мы ничего не делаем, не помогаем вам!

Если признаться честно, то мы уже не надеялись на приезд Гуменника. Мы уже знали, что его нет в Москве, в институте имени Скопинского, где он теперь работает конструктором. Он испытывает где-то на юге свою очередную машину. И вот те на! За спиной ответственного работника — высокая сухопарая фигура. Светлые волосы, скупая улыбка...

— Яков Яковлевич, как же мы рады! Очень хорошо, что вы приехали.

— А что же, я человек дисциплинированный. Получил телеграмму — и на самолет.

От двери кричат: «Товарищи, поторопитесь, автобус не может больше ждать!»

— Яков Яковлевич, где вы остановились?

— А я тут недалеко, у своего приятеля остановился.

— Телефон там есть?

— Вот телефона, к сожалению, и нет.

— Как же быть? Нам же надо обо всем договориться...

— Вы поедете или нет? — это опять нам.

— Хорошо. Яков Яковлевич, надо чтобы вы завтра были к шести вечера в Абашево, у Дворца культуры. Не забыли где это?

— Думаю, что нет, — улыбается Гуменник.

— Там увидите наш телевизионный автобус. Во Дворец не заходите ни в коем случае, только в автобус! Мы потом вам все объясним.

— Ну, что ж, надо, так надо, — соглашается Гуменник.

— И не звоните никому из своих

друзей! — это мы кричим уже от двери.

В автобусе сидели две симпатичные, но чрезвычайно рассерженные дамы. Однако через минуту они успокоились. Причем выяснилось, что не так они уж и торопятся. Но чужому коню, говорят, в зубы не смотрят. Мелькает запоздалая мысль: адрес! Почему я не спросил адрес квартиры, где остановился Гуменник? Но автобус уже мчит нас через город, на ту сторону Томи.

И вот — расплата за опрометчивость. Человек поверил нам, оставил свои важные дела, но из-за какой-то, по всей вероятности, глупейшей случайности не попадет на встречу, ради которой он специально летел из Москвы!

До начала передачи остается восемнадцать минут. Мне уже давно пора идти в автобус на свое режиссерское место. Я рассчитывал, что буду сегодня работать с Таней, ассистентом режиссера новокузнецкой телепередвижки. Сейчас бы она сидела за пультом и делала всю подготовительную работу. Операторы уже стоят за камерами. Надо проверить теперь при полном зале, что «видит» каждая из камер, приметить интересных людей, чтобы потом в нужный момент скомандовать оператору: «Дай мне того старичка с орденами, что сидит в пятом ряду!» Или: «Сейчас будут аплодисменты, в кадр — женщину, крайнюю слева. Она так живо реагирует». Нет полной надежды на звукорежиссера. И хотя мы с ним все уточнили на репетиции, есть опасность, что тот может перепутать пленки. Надо сделать еще десятки других дел: этого проверить, тому напомнить... Но у Тани заболел ребенок, она сидит дома, ждет врача. А выяснилось это только сегодня утром... Слишком много для одной передачи непредвиденных случайностей!

Надо бежать в автобус, а я все ме-

чуть между колоннами подъезда: а вдруг все-таки появится? Я один в подъезде, все уже в зале. Даже шоферы многочисленных автобусов, доставивших шахтеров из Междуреченска, Осинников, Бунгура...

— Скажите, автобус телевидения сюда приходил? — возле меня остановился невысокого роста паренек в зеленой болоньевой куртке. «Видимо, знакомый кого-то из техников с ПТС», — равнодушно подумал я.

— Приходил, — отвечаю, — он и сейчас здесь.

— Где?

— Вон там, за теми деревьями, — я машу рукой в сторону дворцового парка. А тут меня, как молния, пронзает мысль: а ведь автобус-то наш почти совсем не виден с улицы!

На этот раз его пришлось поставить в парке, для чего бульдозер вырыл в снегу глубокую траншею. За горой снега и деревьями видна лишь крыша автобуса. К тому же, на ней нет привычных чашеобразных антенн, они поставлены в стороне, на чьи-то гаражи. Все это сделано для того, чтобы обеспечить прямую видимость на телевизионную вышку. Гуменник мог попросту не найти нас и уехать назад, в город. У меня все холодеет внутри.

— А зачем вам автобус? — спрашиваю паренька, который повернулся было уходить.

— Да надо, — говорит он на ходу.

— Послушайте, — бросаюсь я за ним. Какая-то неопределенная надежда, как та соломинка, за которую хватается утопающий, мелькает у меня в голове. — Дело в том, что я жду человека...

— Какого человека вы ждете? — что-то в моих словах заинтересовало парня.

— Да одного человека из Москвы. Он нужен на телепередачу...

— Тогда пойдемте со мной, — говорит парень и улыбается.

Бормочу что-то в ответ и торопливо иду за ним. Я еще не верю окончательно, что катастрофа минует нас.

За сквером, совсем в противоположной стороне площади, стоит серое такси. Еще с затылка узнаю Гуменника, открываю дверцу:

— Яков Яковлевич, я чуть с ума не сошел... Где же вы пропадаете?

— Я уже полчаса здесь, — очень серьезно говорит Гуменник, — хотел уезжать...

Оказывается, они несколько раз проехали по площади, стоят всех сортов автобусы, а телевизионного — нет.

— Я же знаю, от него всякие кабели должны тянуться, — говорит Гуменник.

Торопливо, но прочувствованно благодарю таксиста и поспешно веду Гуменника мимо подъезда Дворца культуры в парк по снежному туннелю. В автобусе прошу ребят освободить ему место, усаживаю. Взглядываю на экраны. Операторы мотают камеры по залу, выставляют диафрагмы. Но я все еще не могу сесть за пульт. Надо найти редактора, вдвоем с которым мы готовим эту передачу, чтобы тот незаметно провел Гуменника за сцену.

Наконец, с прыгающим от бега сердцем, я сажусь за свой режиссерский пульт. Руки дрожат. Совершенно не помню, с какой камеры я должен начинать. Звукорежиссер сует мне в рот папиросу, зажигает спичку.

— Операторы, давайте картинки! — кричу я в микрофон. Техник ПТС удивленно оглядывается на меня: чего это я кричу, ведь связь отрегулирована, все отлично слышно.

На эфирном экране появляется заставка «Показывает Новокузнецк». Это условный сигнал. Сейчас на всех промежуточных радиорелейных пунктах дежурные техники поспешно щелкают тумблерами, разворачивая, как они говорят, реверсируя двухсоткилометровый телевизионный луч в обрат-

ную сторону. Вижу в эфире свою заставку, считаю до пятнадцати, команду звукорежиссеру: «Музыку!»

Передача началась. Пока все идет нормально. За кадром директор Дворца культуры — кстати, очень хороший мужик, крепко нам помогал — читает Указ о награждении объединения. Вспыхнули лучи на макете Ордена, зал взорвался аплодисментами. Вышла ведущая — диктор нашей студии. Аплодисменты вспыхнули с новой силой: ее популярности у нас в Кузбассе могли бы позавидовать многие известные киноартисты. Благополучно прошел вынос знамен. Этот момент меня тоже весьма беспокоил. Знаменосцев и их ассистентов — более шестидесяти человек, а в зале узкие проходы, тесно на прощениуме, где заранее приготовлены стойки для знамен. Но получилось как нельзя лучше. В зале установилась торжественная, даже какая-то звенящая тишина. Похоже, что сами горняки не представляли себе до сей минуты всю огромность и мощь своего Объединения. Правильно мы сделали, что настояли на знаменах!

Но все это было лишь прелюдией. Сейчас начнется главное. Проторчав на улице в ожидании Гуменника, я не знаю теперь, все ли нужные люди явились, а главное, сумели ли мои помощники отыскать их и усадить на те места, которые я им отвел на плане и которые знает ведущая. Ведь ни единого из них она и в глаза не видела, она знает только, что, скажем, в седьмом ряду справа первым от прохода должен сидеть Горелов...

Горелов? За несколько минут до начала, уходя из автобуса с Гуменником, редактор крикнул мне: «Горелова нет». Для передачи это не главная фигура, но он первый, к кому будет обращаться в зал ведущая. А вдруг на его месте сидит какой-нибудь совсем другой человек? Это же собьет ведущую, погубит всю передачу. Успел ли

редактор предупредить ее?

Но ничем помочь я уже не могу. Слежу за экранами, даю команды операторам, помрежам, а пальцы мои между тем нажимают кнопки, посылая в эфир то одну «картинку», то другую, то третью... Ах, Таня, Таня, надо же было, чтобы твой сын заболел именно сегодня!

А ведущая берет со столика лампу. Это тоже история о том, как мы нашли ее, старую бензиновую лампу «Вольф». Такими давным-давно не пользуются горняки. Но один из наших героев пятьдесят лет назад начинал свой путь шахтерский лампоносом. И нам позарез нужна была эта, выдавшая виды, спутница шахтера...

Ведущая держит ее в руках и, рассказывая историю поисков, в полном соответствии со сценарием, обращается в зал:

— Но я ведь не была при этом. Продолжить рассказ я прошу вас, Алексей Петрович Горелов. Я знаю, что вы очень активно помогали нашим товарищам искать эту лампу.

У меня похолодело все внутри: не успели предупредить ведущую! Как-то она сейчас вывернется из этого положения?

Молодцы операторы! Я уже вижу на одной из камер, как берет микрофон из рук Наташи-помрежа... Горелов. Уф! И здесь пронесло.

Чувствую, что передача идет хорошо. Зал с каким-то очень теплым доброжелательным вниманием слушает простые бесхитростные разговоры ведущей с одним горняком, с другим, с третьим... Здесь весь фокус в том, что в результате такого разговора человек вдруг предстает в каком-то новом, порой неожиданным свете.

Ведущая приглашает на сцену молодую еще, приятную с виду женщину. Заметно, как та волнуется.

Мария Григорьевна Шишкина хорошо работала в прошедшей пятилетке

и знает, что сегодня ей будет вручена награда. Сейчас вся семья Марии Григорьевны сидит у телевизора, и ей приятно, что домашние будут свидетелями ее маленького торжества. Немножко огорчает лишь то, что младшие сыновья сейчас в школе, не увидят: учительница наотрез отказалась отпустить их пораньше. Не знает Мария Григорьевна, что ее любимцы, непривычно серьезные, в наглаженных красных галстуках, давно уже томятся в трех шагах от нее, за кулисами.

И вопрос, который задает ведущая, неожиданный для Марии Григорьевны:

— Правда ли, будто ваши близнецы так похожи друг на друга, что их веч-но путают?

— Ну, какая мать согласится: конечно же, нет! Юрий такой ласковый, внимательный, и Гера — серьезный, рассудительный, а Андриян — весел-чак и сорвиголоуа.

— Зато, говорят, голоса у них совершенно похожие, — сомневается ве-дущая.

— Ну как же похожие? Еще когда грудными были, ночью заплачет ко-торый, я еще не проснусь, а уже знаю, к какой кровати бежать.

В зале с веселым интересом следят за этим разговором.

— Что ж, попробуем убедиться, — предлагает ведущая. — Только, Мария Григорьевна, пожалуйста, не обра-чивайтесь. Ребята, прошу!

Из-за кулис выходят трое мальчи-ков и становятся за спиной матери.

— До чего ж похожи! — прошеле-стел по залу шепот удивления. И в са-мом деле: одинакового роста, одинако-вые прически, черты лица, не говоря уже о том, что и одеты они одинаково: словом, как три капли воды, которые различить невозможно.

Эти мальчишки достались нам тоже не просто. Дня за два до передачи мы узнали вдруг, что руководители

ца класса, где учатся ребята, не пу-скает их на репетицию и запретила участвовать в телепередаче.

Ехать в отдаленную школу уже не-когда. Пытаемся говорить с ней по телефону:

— Мальчики плохо себя ведут, их нельзя показывать по телевидению.

— Они что, хулиганят?

— Не хулиганят, но безобразнича-ют.

— Что же они натворили?

— Они водят за нос учителей. Рас-пределили между собой, кому что учить...

— Как это?

— Очень просто. Юрий учит сегод-ня, скажем, историю. Герман — геогра-фию, а Андриян — литературу. Пре-подаватель истории вызывает Геру, а отвечает Юра. По географии вызо-вут Андрияшу, к доске идет Гера. Их же невозможно отличить друг от дру-га! Разве педагогично после всего это-го их хвалить, да еще по телевизору!

— Да не будем мы их хвалить! Речь пойдет о Марии Григорьевне, их маме, поймите. Она очень достойный чело-век...

— Вот и показывайте мать, — сухо говорит учительница и вешает труб-ку.

Ну как объяснить ей, что мало, ничтожно мало и несправедливо гово-рить о Марии Григорьевне Шишкиной только как об отличной работнице. И даже если мы расскажем ее историю — как начинала она на фабрике в мало-квалифицированной должности поро-доотборщицы, как одновременно учи-лась на курсах, как стала потом сепараторщицей, одной из лучших на Бай-даевской обогатительной фабрике, все равно это будет лишь малая часть правды. А вся правда в том, что, рабо-тая так, она вырастила девятерых де-тей.

Были Вера, Надежда, Любовь, были Галя, Толя и Сережа. Было шестеро,

ждали седьмого. А родилось сразу трое.

— Вот это космонавты! — ахнули в больнице.

В свое время многие газеты обошел снимок: три завернутых в пленки младенца, а над ними в овальных рамочках портреты Гагарина, Титова, Николаева с собственноручно ими написанными пожеланиями счастья своим маленьким сибирским тезкам.

Теперь тройняшки ходят в шестой класс, и у них ломаются голоса. Поэтому ничего не вышло с нашей затеей разучить с ними для сегодняшнего вечера песню. Тогда они сочинили стихи о своей маме. Две недели тайно от нее ходили в Дом культуры на репетиции, и теперь вот по очереди, срывающимися голосами, читают свои добрые и неуклюжие строки.

Мать сидит на сцене, лицом к залу и счастливо улыбается. Конечно же, она без всякого труда разгадала нашу нехитрую задачку — тотчас и безошибочно узнавала каждого по голосу. Зал долго и с удовольствием аплодирует. Когда же слово дали председателю шахткома и на белой кофточке Марии Григорьевны, рядом с медалями и орденами за материнство, появился знак «Победитель социалистического соревнования», аплодисменты разразились с новой силой.

Все камеры нацелены на мать, на цветы в ее руках, на улыбки зрителей. Не то это, не то! Не здесь сейчас главное... Наконец-то! Оператор берет в кадр сыновей и стремительно укрупняет глаза. Во весь экран сияют восхищенные глаза Юры... Геры... Андрияши. Широко распахнуты мальчишеские глаза, впервые увидевшие свою мать в ее истинном величии...

Какую же огромную силу таит в себе доброе слово, сказанное принародно!

...В руках ведущей фотография: у въезда в район, откуда мы ведем сей-

час передачу, на постаменте, окрашенная в ровный серебристый цвет, стоит странного вида машина на гусеницах.

— Вы, конечно, знаете — что это за машина? — спрашивает она, обращаясь к залу.

Конечно, знают. В разных концах зала слышится: «Комбайн Гуменника».

Так вот, вовлекая зрителей в разговор, ведущая добирается до тех, кто, пока сами этого не подозревая, должны сейчас сыграть очень важную роль в самом главном сюжете передачи. На сцену поднимаются два старых горняка — Рейтер и Фосс.

Ведущая между тем опять же в полном соответствии со сценарием возвратила их на двадцать лет назад, к тем временам, когда они, молодые, горячие, испытывали первое неуклюжее детище Гуменника, сделанное их руками.

— Как вы называли его тогда?

— «Соломотрясом», — широко улыбается Фосс. Чувствуется, что ему до слез приятно вспоминать все, что связано с теми далекими днями. — Когда работал, в нем возникала невозможная тряска, вот поэтому мы его и звали так.

Эти двое полны сейчас приятных воспоминаний о днях, месяцах, годах трудных поисков и о том оглушительном триумфе, когда комбайн начал с невиданной ранее скоростью вгрызаться в земную твердь и устанавливать один мировой рекорд за другим.

Тогда о них писали газеты, шумело радио. И что из того, что обошли их стороной награды, что высокое звание лауреата самой почетной в стране премии досталось не им. Они испытали величайшее наслаждение, именуемое Творчеством. И приобрел их к делу изобретатель-самоучка Яков Гуменник.

— Он ведь, знаете, какой был человек? У него из рук ничего не валилось.

За верстаком — он слесарь, за станок встанет — он токарь, фрезеровщик, строгальщик. Все умел делать!

— А с тех пор, как Гуменник уехал из Кузбасса, вы знаете что-нибудь о нем?

— Да. Я переписываюсь с ним, — убежденно говорит Рейтер. Только чуть-чуть дрогнул голос старого рабочего, никто и не заметил. Но я-то знаю, что давно пересох и этот ручеек связи, оборвалась ниточка, разошлись пути. У столичного инженера-конструктора свои дела, у пенсионеров — свои: о чем и сколько можно писать? Но не может Рейтер признать перед публикой этот, объяснимый в общем-то и все-таки печальный факт. Не может, потому что усматривает в нем урон авторитета горячо им любимого человека.

— Говорят, совсем седой стал Яков Яковлевич, — добавляет Фосс.

А в это время за кулисами в величайшем возбуждении меряет журавлиными ногами узкое пространство Гуменник: — Ох, постарели ребята! Ох, постарели! — шепчет он, ероша свои действительно почти совсем седые волосы.

— И вы, конечно, рады были бы его вновь увидеть? — ведущая продолжает гнуть свою незаметную линию.

— Конечно! — выдыхают оба. Они

сейчас наивны и простодушны. Но зал начинает что-то подозревать, зал ждет чуда.

И чудо происходит.

— Я рада, что мы можем доставить вам это удовольствие, — говорит ведущая, в голосе ее я слышу с трудом скрываемое ликование. — Пожалуйста, Яков Яковлевич!

Молодец оператор, сумел-таки захватить изумленные, еще не верящие в чудо глаза Фосса! Нажимом кнопки на мгновение посылаю в эфир этот крупный план, затем сразу же — общий: застывшие фигуры старых горняков, шагающий к ним из-за кулис Яков Яковлевич Гуменник и еще — тишина. Тишина, которая через долю секунды оборвется шквалом аплодисментов. Длинный-длинный средний план: крепкие мужские объятия и блестящие от слез глаза Гуменника.

Теперь я твердо уверен, что увенчанному лаврами Гуменнику эта встреча была даже нужнее, чем его доживающим век на пенсии сподвижникам.

Передача на этом не кончается. Будут еще другие эпизоды, другие по-своему интересные и волнующие встречи. Но сейчас она прошла свой пик. И хотя всякое еще может случиться и неизвестно что будут говорить в понедельник на студийной летучке, сейчас — я счастлив.

Владимир Власов

ЭХО

Вторые сутки по брезенту палатки шелестел дождь. Вторые сутки я клял себя за то, что уговорил Завадского — соседа по квартире — поехать на рыбалку. Вслух этой темы я старался не касаться. Но, убирая после обеда нехитрую газетную скатерть, прочитал прогноз погоды, обещавший затяжные дожди, и терпение мое лопнуло.

— Старый ротозей и склеротик, — обругал я себя, показывая газету Завадскому. — Я же читал этот прогноз, в этой самой газете за день до выезда. Полное расстройство памяти...

Завадский улыбнулся:

— Зачем же сразу страсти-мордасти? Ну, забыли и забыли... бывает.

— Нет, Алексей Захарович, — упорствовал я, — это уже настоящее старческое — забываю текущие события и дела, а прошлое помню.

— Причиной забывчивости может быть и не склероз, — задумчиво сказал Завадский. — Человеческая память — инструмент тонкий. Взять такой случай. В сорок втором, во время атаки под деревней Иванько заставил немец нашу роту лечь в сотне метров от дзота. Лежим мы, оставшиеся в живых, на пахоте, жмемся к земле и голову поднять из борозды боимся, потому что на малейшее движение немец реагирует мгновенно. У тех, кто поначалу переползал в поисках глубокой борозды, попорол он пулями вещевые

мешки. Меткий, негодай, и бережливый — зря не выстрелит. Но лучше бы он стрелял без остановки, потому что во время стрельбы немцы подойти к нам не могут. А вот в перерывах каждую секунду жду, что подбегут и возьмут нас голыми руками — мы и головы поднять не успеем.

Не оформилась еще у меня полностью эта мысль и не принял я никакого решения, как слышу голос старшины:

— Ребята, у кого сидор целый, шевелитесь. Под огнем сейчас безопасней.

Поняли, зашевелились, И сразу застучал пулемет. Слышно, как шелкают пули, проклеывая вещевые мешки, как матерятся мои товарищи. А пулеметчик осатанел — пулемет у него прямо захлебывается. Вдруг смолк. Старшина спрашивает:

— Неужто эта падла расстреляла все наши сидора?

Кто-то отвечает:

— Никак нет, товарищ старшина, у Чижикова сидор целый.

Старшина командует:

— Чижиков, шевелись!

— Не могу, товарищ старшина.

— Ранен?

— Пока нет.

— Шевелись, Чижиков!

— Нельзя, товарищ старшина, товар в мешке.

— Ты что, на ярмарке?!

Старшина еще не кончил многоэтажное ругательство, а пулемет зашелся в длинной очереди.

«Зашевелился Чижииков», — подумал я.

В этот момент возле дзота грохнуло, и пулемет замолчал... Потом был рукопашный бой. Так вот я ничего из этого боя не помню. Разговор под пулями помню слово в слово, а тут... хоть убей. Шел вместе со всеми, а ничего не помню, будто спал. Очнулся в деревне. Сажу на крылечке, винтовка между ног, ствол у меня на бедре. Я держусь за ствол обеими руками, смотрю на приклад. А приклад в крови. Значит, действовал я винтовкой, как дубиной, а в памяти ничего не осталось... Пусто... И на душе мерзко. А ведь я актер театра кукол. Память у меня цепкая, профессиональная, о склерозе тогда слышал только краем уха... а случилось же так...

Завадский беспомощно развел руками, словно оправдываясь. Шелестел дождь. Пахло мокрым сеном и прелью. Перед входом в палатку чернели угли погасшего костра. Чуть дальше тихая речка бесшумно несла свои воды среди низких берегов. Над водой сиротливо торчали тонкие длинные удилища. Кончался второй день вынужденного безделья.

— Алексей Захарович, — обратился я к Завадскому, — помните ли вы, чем кончилось дело с вещевым мешком того солдата?

Завадский улыбнулся краешком губ, ответил голосом, полным какой-то особой теплоты:

— Еще бы! Наш старшина на отдыхе учинил Чижиикову форменный допрос. И старик (всех старше сорока мы считали стариками) покаялся, что в своем солдатском сидоре таскал две недели кожу, срезанную с трофейного седла. Старшина преисполнился начальственной строгости и заговорил

таким тоном, словно перед ним стоял отпетый преступник, подлежащий сдаче в трибунал. Чижииков — человек молчаливый и даже угрюмый — растерянно моргал глазами, а солдаты, чуя очередной розыгрыш, уже окружали их кольцом. Я хотел вмешаться и прекратить эту комедию, но меня опередил Чижииков:

— Сапожный товар был отменный, товарищ старшина, а энтог фашистский нехристь из него лапшу сделал.

— Как же ты, Чижииков, мог в такую страшную минуту жалеть этот проклятый товар, когда на тебя и твоих товарищей в упор глядела смерть?

Чижииков кашлянул смущенно и, обращаясь ко всем, сказал тихо:

— Не товар я жалел в эту страшную минуту, братцы, а дочку Катюшку.

Спеша и волнуясь, он вытащил из кармана помятый бумажный треугольник и подал старшине со словами:

— Вот... пишут... пошла Катюшка... пошла, значит, своими ножонками... а обувка... Ну, я... ить умею...

Старшина крикнул, вернул письмо, незаметно подобрался и, вдруг, командовал:

— Разойдись!!

Через полчаса он вручил Чижиикову новехонкий вещевой мешок, сверток мягкой кожи и буркнул:

— Не оплошай. Проверю!

Завадский был настоящий артист кукольного театра: рассказывая, он говорил голосами своих героев и их легко можно было представить. Мы давно жили в одном доме, встречались и говорили, как это бывает, обо всем понемногу, но такой интересный разговор состоялся впервые.

— Что-то разболтался я сегодня, — вздохнул Алексей Захарович. — Вам не надоело? Я ведь редко с кем откровенничаю, а с вами мне сегодня легко говорить, хотя вы мне не сват, не брат и даже не дальний родственник.

— Наверное, обстановка...

— Да, да, — оживленно прервал меня Завадский. — Вы очень удачно заметили, Владимир Фомич. Именно обстановка! После двадцати лет городской жизни, теплых постелей и прочего комфорта, — сырая палатка, сено, дождь... Декорации, так сказать, налицо. Не хватает только махорочного дыма. А раз есть сцена, должно разыграться действо. Вот я и подменяю его своими воспоминаниями... Память! Да, сложнейшая загадка природы. Я много читал и размышлял над тем, как и почему действует или не действует память, и не нахожу ответа... Думается мне, что связано это с сильнейшими потрясениями, но как-то выборочно. У людей, прошедших войну, это особенно наглядно, хотя никак не объясняется общепринятое положение, будто забывается все плохое и злое, а помнится хорошее. Расскажу вам еще одну историю. В этом же сорок втором попал я в плен. Помню все, а во сне и сейчас бывает кричу от ужаса и просыпаюсь в холодном поту. Но отдельные люди, которым я обязан жизнью, почему-то забылись или помнятся смутно.

Однажды вечером в бывшем военном городке, превращенном фашистами в лагерь военнопленных, навалился на меня жесточайший озноб. Что это за болезнь, я не знаю и по сей день. Но тогда я уже мысленно попрощался с жизнью. Стою на поверке и так мерзну, что зуб на зуб не попадает, хотя время еще теплое. Кое-как добрался до казармы и упал в углу на холодный цементный пол. Сразу же напали на меня блохи. А их там было столько, что трудно представить. Когда мыли пол, то белые стены чернели на два метра вверх от этих паразитов. Но в этот раз я их не чувствовал. Проклятый озноб треплет мое тело, голова горит, словно в огне, и сильно давит сердце. Слышу монотонное гудение массы человеческих голосов, будто огромный рой

пчел гудит где-то рядом, а ни одного слова ясно не слышу. Вижу массу лиц, а ни одного отдельно рассмотреть не могу. Все они качаются и плывут куда-то мимо меня. Потом это движение замедлилось, возле меня наплывом появилась забинтованная голова, и хриплый голос позвал:

— Пашка, вали сюда. Расстелий шинель, клади этого бедолагу в серединку.

Они расстелили шинель, положили меня между собой, накрылись двумя шинелями. Забинтованный хрипит:

— Дыши, браток, дыши пуще. Сейчас мы согреем тебя. Пашка, дыши что есть духу.

Спустя самое малое время тело мое покрылось потом, озноб утих, отошла боль от сердца. Забинтованный почувствовал, что я вспотел и прохрипел:

— Будешь жить, командир.

— Откуда вам известно, что я командир?

— Нам все известно. Какой же я солдат, если командира отличить не сумею? Мне петлиц не надо. Я на твои руки глянул и сразу понял, кто ты есть.

Утром нас подняли палками, и мы навсегда потеряли друг друга в суматохе лагерного дня. Я знаю, что видел его утром, видел близко, а память сохранила только грязный бинт через лоб и хриплый голос. Я до сих пор поворачиваюсь на хриплый голос в толпе, в трамвае, в электричке.

Завадский потер, словно согревая, пальцы, знобко передернул плечами. Тонкие в кисти руки его были очень подвижны. Особенно подвижны и чутки были пальцы. Эти пальцы, длинные и сильные, все время двигались, когда он говорил. Двигались они и сейчас: мягким, точным движением извлекли из коробки дорожную папиросу, размяли табак, зажгли спичку. Заметив, что я внимательно разглядываю его руки, Завадский сказал:

— Основа куклы — живая рука актера. Вы заметили, конечно, что я все время пытаюсь изобразить руками то, о чем рассказываю. Это профессиональное. За свои руки хлебнул я горя в плену. И в этом случае в памяти моей — необъяснимый провал.

Нас гнали пешком полдня без остановки. Истощенные люди шли медленно. Охранники торопили, подгоняли, ругали и били отстававших. Особенно свирепствовал длинноногий рыжеватый охранник. Говорили, что он не немец, что он выслуживается перед немцами. Позади колонны частенько потрескивали короткие автоматные очереди — добивали обессиленных. После выстрелов все невольно ускоряли шаг и какое-то время колонна шла почти без шума, а потом все повторялось. В полдень остановились. Охранники начали обедать, а мы первый раз за день напились прямо из речки и присели на берегу. Соседи вытряхнули из карманов и кисетов все, что там оставалось, и с трудом наскребли табачных крошек на одну сигарку. Мой вклад был огромный — десятка два махоринок. И сворачивать сигарку доверили мне. Как на грех, ни у кого не нашлось газетки. Табачное крошево, ссыпанное на замызганную пилотку, бережно держал двумя руками здоровенный горбоносый парень. Он сказал:

— Возле воды на траве валяется пропуск в немецкий рай. Бумага, конечно, вонючая, но в этом раю другую хрен найдешь. Принесли пропуск в плен. Вручили мне — крути сигарку. И тут будто черт меня под локоть толкнул: начал я читать этот пропуск вслух. Читал, имитируя произношение Гитлера, и каждую фразу сопровождал популярным жестом — кукишем.

Завадский на мгновение смолк и вдруг выпалил трескучей скороговоркой, безбожно коверкая слова:

— Русише зольдатен, вам гарантируется жизнь! Ви получайте клерб, бу-тер, медицинскую помощь, свободу... При первых звуках этой речи пальцы правой руки Завадского сложились в кукиш, напоминающий человеческую голову в профиль. Эта голова ни секунды не находилась в покое. Звучание голоса и совпадение речи артиста с жестом были полными, понятными любому. Даже сидя в тесной палатке рядом с Завадским, я поддался влиянию древнего искусства — казалось, что говорит голова-кукиш. Я громко засмеялся.

— Вот так же смеялись мои товарищи, — сказал Алексей Захарович. — И я был счастлив, что хоть на миг развеселил их. Громче всех смеялся парень, державший пилотку с табаком. Я еще не кончил читать листовку-пропуск, как почувствовал что-то неладное. Зрители мои хохотали по-прежнему, по-прежнему искрились смехом глаза горбоносого парня, но смотрел он не на кукиш, а куда-то дальше, за мою спину. Я опустил руку и оглянулся, но поздно — слепящий удар кованого приклада в лицо выбил сознание. И вот в это короткое мгновение в память навсегда вошла рысь морда охранника с рыжеватыми тщательно подбритыми бачками, с хищным прищуром больших серых глаз и вертикально стоящим зрачком. Помню, что успел подумать: «Фини!» В себя пришел на ходу. Колонна, поднимая тучу пыли, двигалась быстро. Меня тащили под руки. Во рту хрустели зубы, а гимнастерка на груди коробилась от засохшей крови. Дважды сменились товарищи, ведущие меня, пока я начал шевелить ногами. Но и потом меня поддерживали, чтобы не упал. Постепенно выплюнул я свои зубы и попросил бросить меня, не мучиться. Меня обматерили, велели молчать. Но вскоре поняли, что не хватит сил тащить меня до вечера. Стали меняться чаще. И я

убедился, что мне не дойти, что скоро упаду и потащу с собой кого-нибудь на тот свет. Поймав момент, когда меня отпустили, я ткнулся всем телом в пыль и перевернулся на бок. Вот как устроен человек: знаю, что скоро умру, а ложусь на бок, чтобы меньше меня топтали. Но никто меня не задел. Идущие сзади шарахались в стороны, лезли под удары охранников, но на меня не наступали. Мелькали, топтали перед глазами ноги. Ноги в сапогах, в ботинках, босиком. Кто-то прошлепал в калошах, привязанных проволокой, а кто-то в сандалиях и в женских чулках, поверх галифе. Помню эти ноги и буду помнить до гроба. Но вот последние наши обошли меня, и топот стал стихать. Улеглась пыль, и послышался новый, отдаленный, сдвоенный звук: туп-дзинь, туп-дзинь, туп-дзинь... Все слышнее, все громче. «Подковка на сапоге отстала — она и звякает, — догадался я и удивился своему спокойствию, — ведь это же идет моя смерть!» И такими громкими показались мне эти шаги, будто бьют они меня прямо по голове: туп-дзинь, туп-дзинь, туп-дзинь! Ударили в последний раз и наступила великая тишина. Вижу возле себя русские яловые сапоги и думаю: «с наших содрал, скотина». Чуть выше сапог — тупой ствол автомата. Еще выше лицо, пилотка, наде-

тая с косинкой. Смотрю на это лицо. Кажется, очень долго смотрю, и чувствую, что страха нет. Вижу, как дрогнул ствол автомата, и я глаз не закрываю. Ствол дернулся, и короткая очередь хлестнула по дороге рядом со мной. Вздрыгнула фонтанчиками пыль, и опять тишина. Лежу и глаз оторвать не могу от лица этого немца, и сердце уже бьется так, будто выскочить хочет. И страшно мне, как никогда раньше, и жить так хочется, будто я и не готовился несколько минут назад к смерти. Снова дернулся автомат, фонтанчики пыли выросли чуть дальше. Яловые сапоги простучали рядом с головой: туп-дзинь, туп-дзинь. И тише: туп-дзинь, туп-дзинь, туп-дзинь... туп, туп, туп... Повернул я голову, а рядом заросли тальника, а за ними речушка угадывается.

Завадский бросил в рот папиросу, зажег спичку. Пальцы его нервно вздрагивали, и огонек погас. Он прикурил с третьей попытки, сказал уже спокойно:

— Мерзавца финна за один миг запомнил навеки, звяканье подковки тоже, а спасителя, хоть и долго видел, не помню. Необъяснимый провал...

Он помолчал, затянувшись, и, медленно выпуская дым, сказал:

— Память, как эхо: иногда отзовется ясно, иногда нет.

ТЕХНИК ВАЛЬКА

От коллег геологов Валентин Копыловский отличался тем, что был моложе всех и носил большие темные очки. Товарищи звали его Валькой, а местные на брошенном приiske, где базировалась партия, приклеили кличку «Очкарь».

Валька немножко стыдился своих очков и старался обходиться без них.

Он и стекла-то достал увеличивающие, но темные, будто очки от солнца и от снега. Но в день приезда нормирующей Ольги Быстровой Валька снимал очки только для того, чтобы протереть стекла.

Она выпрыгнула из вертолета вслед за бортмехаником прямо в метель, поднятую вращением лопастей.

Копыловский, дежуривший на посадочной площадке, даже зажмурился в ожидании ругани, которую обрушит бортмеханик на голову непослушной пассажирки. Но этого не случилось.

Валька надел очки, глянул на нарушительницу и забыл их снять. В нахлобученной на самые брови черной меховой шапке, осыпанная с головы до ног сверкающей снежной пылью, она была так хороша, что бранить ее за нарушение правил, конечно, никто бы не смог. Копыловский постарался сделать каменное строгое лицо, но когда Оля, знакомясь, протянула руку, Валькины толстые губы дрогнули и расплылись в добрейшей улыбке.

И тут кто-то из грузчиков шепнул: — Очкарь влип!

Ольга, наверное, и не слышала этих слов. Она просто ответила улыбкой на улыбку, но Валька слышал, и ему показалось, что Ольгу рассмешила ненавистная кличка. Он разволновался, оробел и стал говорить неестественно громко, отрывисто и резко, с каким-то дребезжанием в голосе. Повернулся к девушке боком и смотрел в сторону через свои темные очки.

Натужно гудя и фыркая черно-синим дымом, из-за пригорка выполз тягач-вездеход, направился к аэродрому.

Вальке очень хотелось проводить Быстрову до конторы, но с площадки уходить ему было нельзя.

— Готовьте багаж, — буркнул он девушке и кивнул на вездеход.

Она нахмурила тонкие бровки, сверкнула черными, как смородина, узкими в разрезе глазами, сказала капризно:

— Стоило ехать на край света ради этого куска железа!

Копыловский работал всего два года, но он знал, какая ценность для геолога вездеход, знал, что есть они только в некоторых партиях. При нем вездеход пришел на старый прииск, и

многие старожилы, не стыдясь, вытирали слезы радости, завидев мощную машину. Поэтому он оскорбился и всерьез рассердился. Но ничего не сказал, только подумал: «Экая fifочка — тягач для нее не машина. Тут автобусов нету, а такси и подавно. Не понравился, видите ли, ей вездеход. Какого ей черта надо?»

Он чуть не спросил вслух так, как думал. Он бы и спросил, да не успел. Она сказала с сожалением:

— Всегда мечтала о Севере... А сегодня ждала, что за мной приедут на собаках, как у Джека Лондона. — Она взглянула на Вальку и спросила тихо, доверительно: — Глупо, правда?

Валька разом простил ей и улыбку по поводу «очкаря» и несерьезное отношение к тягачу — любимцу всей партии. Он попытался пошутить насчет того, что местные собаки никогда не работали в упряжке и на серьезной охоте, а занимались, в основном, ловлей блох и травлей кошек, но запутался и смолк. Чтобы скрыть смущение, он заворчал на грузчиков, не заметивших течь масла из-под плохо затянутой пробки. Вездеход, нагруженный бочками с дизельным маслом, увез юную любительницу Севера, а командующий погрузкой смотрел ему вслед до тех пор, пока из-за пригорка слышался шум двигателя. До самого вечера Валька был необыкновенно рассеян и задумчив. А на следующий день аборигены были потрясены необычайной новостью — техник Копыловский покупал собак и платил, не торгуясь, большие деньги. К вечеру в сарае у Егора Хабарова, в доме которого помещался геологический отдел и жил Валька, бесновались на цепях восемь звероподобных лохматых дворян.

Целый месяц Копыловский посвящал приучению псов друг к другу. Для этого он вечерами с дедом Хабаровым выводил собак на прогулку на длинных поводках. Но дворянги никак не

хотели свыкаться. Они сразу хватали друг друга за горло; и растащить их было не так просто. Валька вызнал где-то, что собачью драку дрессировщик должен предупреждать командой «фу» и ударом хлыста. О команде он информировал деда, а о хлысте умолчал. Дед фукал вместе с Валькой изо всех сил, но толку от этого было мало. В конце месяца почта доставила Копыловскому объемистую посылку с книгами, посвященными жизни, воспитанию и дрессировке собак. Неграмотный дед Егор с интересом разглядывал цветные изображения породистых собак, а Валька читал ему надписи до тех пор, пока бабка Арина не потушила лампу и не прогнала их спать. Дождавшись легкого похрапывания Арины, дед вынырнул из-под стеганого одеяла, прокрался в Валькину комнату, пожаловался чуть слышно:

— Не могу заснуть. Все думаю: какой же породы наши твари?

Валька долго сопел, потом сказал неуверенно:

— Не иначе, как помесь добермана-пинчера с овчаркой, лайкой и таксой.

Дед недоверчиво кракнул и отправился под одеяло к Арине, а утром обратился с этим вопросом к главному геологу, повторив Валькино определение.

Вечно занятый, главный долго не мог понять, чего хочет от него хозяин дома, а поняв, рассердился и брякнул, чтобы скорее отвязаться:

— Смесь бульдога с носорогом.

Конкретный ответ деду понравился, и он душевно поблагодарил главного геолога.

Техник Копыловский за этот месяц сильно похудел. Сказывались вечерние и ночные занятия по приучению псов к совместной жизни. Изменилась и одежда Вальки. Простая ватная спецовка и валенки были заменены на мохнатую, шерстью наружу, короткую

куртку, меховые «лётчишские» брюки и шикарные пятнистые черно-белые унты. На голову он приспособил косматую дедову шапку. Карманный нож был заменен тесаком, выкованным в кузнице из подшипника. В великолепных ножнах, отделанных фольгой и цветной пластмассой, он выглядел устрашающе. Каштановая борода и некоторый искусственный рокот в голосе придали Вальке небывалую солидность. Когда он в таком виде впервые предстал перед нормирующей Быстровой, она стала называть его на «Вы», хотя до этого они уже были на «ты». Копыловский досрочно сдал наряды по своему участку, и Оля громко похвалила его за правильное и грамотное оформление. Валька в душе крикнул «ура», но внешне своего восторга не выдал. Из конторы он уходил неохотно. Это было единственное место в поселке, где он мог видаться с Ольгой, не придумывая всяких липовых причин. Посетить ее на дому он боялся, потому что хозяйка дома по прозвищу Трясогузка, первая сплетница на приiske, наверняка сочинила бы какую-нибудь скверную историю. Поэтому Копыловский придумал хитрый ход: в нарядах за следующую декаду он сделал несколько ошибок, исправляя которые, просидел с Ольгой за одним столом пять часов. Но повторять этот трюк несколько раз было нельзя, чтобы не прослыть дураком. А этого Валька допустить не мог. И все надежды возложил на собак. Лавры героев Джека Лондона, пересекавших на собаках снежные просторы Аляски, не давали ему покоя. Он представлял себе, как обрадуется Ольга, увидев собачью упряжку, как он будет катать ее по окрестностям прииска и как она будет рада и благодарна. Ему не хватало знаний погонщика собак, но упряма хватило бы на добрую сотню приискателей Клондайка. Валькины

Псы уже слушались и делали кое-что: сторожили дом, гонялись за птицами, по команде хозяина ходили на задних лапах, выпрашивая кусочки мяса, но служить в упряжке отказывались. Достаточно было дрессировщику снять со стены аккуратно сшитые шлейки, как собаки с воем разбегались куда глаза глядят. Опытные авторы всех учебников настоятельно рекомендовали применение хлыста, и Копыловский сплел себе настоящий арапник. Он научился щелкать этим бичом с силой ружейного выстрела, оглушая себя и собак.

Слухи о Валькином увлечении дрессировкой дошли до Ольги Быстровой, но на вопросы о собаках Валька отвечал так туманно и неопределенно, что еще больше разжег ее любопытство. Она пробовала узнать подробности у других геологов, но толком никто ничего не знал. Тогда Ольга обратилась к своей хозяйке. Трясогузка нашла предлог, чтобы уединиться с бабушкой Ариной. Словоохотливая Арина поведала все, что знала о своем квартиранте и его собаках, кончив тем, что Валька хочет ездить на собаках. Трясогузка ахнула:

— Неужто поедет?

Арина подумала, добавила неуверенно:

— Черт его не знает, кто на ком поедет, но сдается мне, что пока вся свора катается на Вальке. Он и фукает на них до хрипоты, и бичом лупит, не щадя сил, а толку нету. Не слушаются они. Мы с дедом жалеем Вальку, как сына, а помочь не можем.

Знаменитая сплетница смотрела так сочувственно, что Арина не могла остановиться:

— Потому и озверел парень. Ругается неподобно, а очками сверкает, чисто Змей Горыныч.

Трясогузка затаила дыхание и прижала ладони к груди, словно смотрела не на Арину, а на икону. Арина со-

крушенно качала маленькой седой головой, тяжело вздыхала:

— И мово старого дурака приспособил к этому делу. Они теперича два сапога — пара, только на одну ногу. Вечерами таскают этих кобелей на ремешках взад-вперед, а ночами читают собачьи книжки и спорют, пока не почернеют.

Трясогузка перекрестилась. Арина сморщилась, сказала напевно:

— И...и...и... разнесчастная его головушка. Псиной от него разит за версту. Кому он такой нужен, и какая девка замуж за такого аспиды пойдет? Ить настоящим живодером стал...

Как бы в подтверждение Ариных слов возле сарая загремели резкие, как выстрелы, удары бича.

Арина кивнула на окно:

— Слышь, какой тама стукаток? Как он изголяется над божьими тварями.

Рассказ Арины, возведенный стараниями Трясогузки в энную степень и расцвеченный подробнейшими комментариями, в тот же вечер был преподнесен Быстровой. В заключение хозяйка квартиры сказала:

— Опсовел очкарь — скоро на людей станет рычать и гавкать.

Потрясенная варварским обращением Копыловского с животными, Ольга со страхом слушала, как по ночам за старыми присковыми отвалами часто щелкает бич дрессировщика, как дико воют псы на подворье Хабаровых. Встречаясь теперь с Копыловским, Ольга смотрела на него так откровенно презрительно, что Валька терялся и старался поскорее уйти.

К концу декабря собаки научились ходить в упряжке покорно и уже редко грызлись между собой.

Валька обычно шел за нартой, а дед Хабаров впереди упряжки, приманывая собак кусочками мяса. Время от времени Копыловский с силой ударял бичом и кричал:

— Вперед!

Зима была очень снежная, накатанных дорог не было, и собаки быстро утащали в рыхлом снегу. Но в начале января снег, засыпавший прииск по самым крыши, уплотнился, осел и свободно держал человека. Валькина упряжка могла двигаться бездорожно в любом направлении. Собаки хорошо бегали по прямой, но никак не могли освоить повороты. Надо было продолжать обучение, но Оля подозрительно часто стала кататься на вездеходе, и Валька решил рискнуть.

В солнечный морозный день он подъехал к конторе на своих собаках. В первой паре шли самые лучшие по кличке Гром и Молния. Валька оставил упряжку у крыльца, сунул собакам по кусочку мороженого мяса и вошел в контору. С самого утра в голове у него навязчиво звенели слова старой песни: «Пролечу, прозвеню бубенцами и тебя на лету подхвачу». Все конторские уже собирались домой, но, увидев упряжку, прилипли к окнам.

Валька остановился за спиной Быстровой и тихо сказал, комкая в руках ременной бич.

— Ваша мечта стоит у порога...

Ольга передернула плечами, как от озноба, нагнула голову, прेमолчала. Тонкая нежная шея девушки покраснела. Валька прошептал:

— Поехали...

Она ничего не ответила и нагнулась еще ниже. Валька переступил с ноги на ногу, повернулся и вышел.

Вслед за ним, радуясь окончанию рабочего дня, высыпали на улицу работники конторы. Быстрова хотела прошмыгнуть мимо упряжки, но Валька, набычившись, заступил ей дорогу, сказал, указывая на нарты:

— Садитесь... — Помолчал и добавил хрипло. — Пожалуйста.

Под любопытными взглядами сослуживцев Быстрова заколебалась: ей

очень хотелось прокатиться на собаках и еще сильнее хотелось наказать живодера Копыловского, показать ему, что дружить с таким извергом она не будет. Она не знала, на что решиться, но когда слышались смешки и шуточки, на зло всем, смело шагнула к нартам, улыбнулась Вальке и села бочком, поджав под себя ноги. Валька крикнул:

— Вперед!

И оглушительно хлопнул бичом. Собаки сорвали нарты с места и бежали по широкой улице прииска. Валька догнал их и прыгнул на задок. Он стоял на коленях и раз за разом щелкал своим страшным бичом, а собаки струной натягивали ремни, улыбаясь нарты все быстрее и быстрее. И в темпе их бега Валька повторял про себя: «Полечу, прозвеню бубенцами и тебя на лету подхвачу».

Через минуту упряжка вырвалась за пределы поселка и помчалась по речной долине, ныряя между старыми отвалами, заросшими березняком. От морозного воздуха у Ольги перехватило дыхание, а встречный ветерок выдавил слезинки. Ей уже хотелось, чтобы собаки бежали потише, а ошалевший от радости Валька орал во все горло: — Вперед! И сек бичом снег с обеих сторон дороги. Снег сверкал, на него без очков было больно смотреть. Ольга крепко уцепилась руками за нарты и закрыла глаза. Копыловский перестал подгонять собак, приготовился останавливать упряжку и извиняться за то, что собаки не освоили повороты. Он открыл рот, чтобы крикнуть «Стой», но впереди выскочил заяц.

Упряжка завyla и ринулась за ним с такой скоростью, что Валька вынужден был схватиться за Ольгу. Нарты летели, едва касаясь полозьями снега. Дорога оставалась в стороне, а упряжка, догоняя зайца, плавно поворачивала в сторону поселка.

Гром и Молния тонко и часто взла-

вали, как настоящие охотничьи собаки, а идущие за ними шесть псов завывали на разные голоса. Таких сногшибательных скоростей и такого адского шума наверняка не видел и не слышал даже сам Джек Лондон. Ольга откинулась для устойчивости назад и прижалась спиной к Вальке. Он крикнул ей:

— Держись!

И подумал: «Вот так бы мы и неслись с тобой всю жизнь, вот так бы...»

Но додумать до конца не успел: замелькали слева и справа дома прииска. Перепуганный заяц несся по улице поселка.

Слыша лай и вой Валькиной упряжки, навстречу мчались, захлебываясь от злости визгом, кудлатые приисковые псы.

Чувствуя верную смерть и спереди и сзади, заяц прыгнул через засыпанный снегом забор во двор к Хабаровым. Дед Егор, заносивший в дом дрова, стоял в дверях.

Заяц проскочил у него между ног.

В следующий миг, сбитый Громом и Молнией, дед ласточкой влетел вслед за зайцем в сенки. Валька привстал, но спрыгнуть не успел и ударился лбом о верхний косяк. Опрокинутый сильным ударом, он не видел, как упряжка ворвалась в сенки.

Гром схватил зайца за ухо, но заяц закричал так пронзительно и страшно, что пес испугался и выпустил добычу. Заяц юркнул под руку упавшего деда. Потеряв добычу, разъяренные собаки бросились друг на друга. Загремели опрокинутые ведра, кастрюли, и шерсть полетела клочьями. Ольга забилась в угол и не вышла до тех пор, пока Копыловский не растащил псов. Она ушла не попрощавшись, обиженно прикусив нижнюю губу.

Дед Егор пустил зайца под пол и помог Вальке ликвидировать следы собачьего побоища.

Через неделю, пряча под шапкой

забинтованный лоб, Валька предложил Ольге прокатиться. Ольга отказалась наотрез и вгорячах сказала, что такие злые собаки могут быть только у злого хозяина. Валька ушел, тихо притворив двери. На собаках он катал деда Егора и приисковых ребятишек. Заяц, извлеченный из подвала на второй день, не давал притронуться к раненому уху. Оно висело как тряпчатое. Валька тихонько подул на ранку. Заяц затих. Дед Егор поливал больное место раствором марганцовки, а Валька дул на ранку, успокаивая боль. Заяца трясло как в лихорадке, но он не кричал. Перевязки и промывания делали долго — ранка не заживала. Днями заяц сидел под полом, а когда геологи уходили из отдела, вылезал наверх и прыгал по кухне. Валька прикармливал его сеном, по совету деда приносил тонкие березовые и тальниковые веточки. Постепенно заяц привык брать еду из рук. Ухо зажило, но не выпрямилось. Когда заяц, пытаясь достать лакомую веточку, становился на задние лапы столбиком, повисшее ухо придавало ему вид забубенного гуляки, которому терять нечего. Дружил заяц только с Валькой и вечерами шел к нему из подполья на голос. О питомце своем Валька никому не рассказывал, справедливо предполагая, что никто ему не поверит. И ему, конечно, никто бы не поверил, как не верили рассказам деда Хабарова о дружбе зайца и человека. А дружба эта крепла день ото дня. Заяц уже смело прыгал к Вальке на колени, а с колен на широкий подоконник. Тыкаясь носом в холодное стекло, он подолгу смотрел на подтаявший потемневший снег и оглядывался на Вальку, словно приглашая его на прогулку. Пока он болел, ему хватало места в кухне. А когда поправился, Валька стал пускать его в геологический отдел, где заяц, дурея от мнимой воли, носился из угла в угол, мотая надлом-

ленным ухом. Иногда он внезапно останавливался, стоял несколько секунд столбиком, будто вглядываясь вдаль, и потешно шевелил усами. Валька хлопал в ладоши. Заяц срывался с места, словно подброшенный пружиной, и прыгал по отделу.

Близилась весна, дни стали длиннее, но свободного времени стало меньше, потому что главный геолог обязал всех использовать световой день полностью. Его подгоняли сроки сдачи отчета, и геологи после ужина, возвращаясь в отдел, чертили карты, планы и разрезы до темноты. Времени на разминку зайца у Вальки не было. А гулять по большому залу тот уже привык. Помучившись в кухне пару ночей, заяц случайно обнаружил, что дверь в геологический отдел закрыта неплотно. Он присел возле широкой щели, чутко поводя здоровым ухом. В доме было тихо. Только изредка всхрапывал дед Егор. Заяц протиснулся в дверь. Она легко отошла. В зале против каждого из трех окон — широкие дорожки лунного света. Впритык к окнам на больших столах серебристо белели листы ватмана с неоконченными чертежами. Границы света и тени — резкие, четкие. Заяц перепрыгнул лунную дорожку, спрятался на мгновение в тени, прислушался, прыгнул через вторую дорожку. Несколько длинных прыжков, и он убедился, что опасности нет. Он вволю напрыгался в лунном свете, а потом мощным прыжком перебрался на чертежный стол. Неглубокая тарелка с натертой в воде китайской тушью привлекла его внимание. Он понюхал тушь, стал столбиком и чихнул. Под окном гавкнула собака. Заяц вздрогнул и опустил передние лапы в тарелку. Собака залилась лаем, а заяц бросился бежать, прыгая по чертежам со стола на стол.

Утром, заикаясь от волнения, Копыловский оправдывал своего питомца перед коллективом.

Безнадёжно испорченные чертежи с черными жирными отпечатками заячьих лап лежали на столе главного геолога. Ежась под укоризненными взглядами своих товарищей, Валька долго слушал разгромную речь главного геолога, посвященную трудовой дисциплине, а потом рассердился и заявил:

— Ладно, я его убью!

Главный уже и не рад был, что затеял этот разговор. Он попытался отговорить Вальку, но тот, словно взбесился: сунул зайца в рюкзак, сгреб двустолвку и вышел, чуть не столкнувшись возле ворот с Ольгой Быстрой. Валька прошел мимо, стиснув зубы и не задорываясь. Злое лицо Копыловского поразило Ольгу, и она не удержалась спросить деда, выскочившего на крыльцо вслед за Валькой:

— Что случилось?

— Скандал! — ответил дед, на ходу надевая полушубок.

Он коротко рассказал о порче чертежей. Ольга ахнула:

— Что ж будет?

— Смертоубийство! — ответил дед и рысью ударился вслед за Валькой.

Ольга поспешила за дедом.

— Значит, даром говорят, что он забивает своих собак кнутом? — спросила она, поравнявшись с Хабаровым.

Дед на секунду остановился, определяя кратчайший путь к Вальке, и пошел напрямик кустами, объясняя на ходу:

— Вранье, девка, бабьи сплетни. Он скорее даст себе выбить глаз, чем тронет собаку. Я ж вместе с ним дресс...дресс... Ну, этой самой собачьей учебой занимался. Это сегодня его допекли и опять же через его слабый характер.

Дед Егор остановился, чтобы передохнуть, сказал прерывисто дыша:

— Нам бы... догнать его... разговаривать... он остынет.

На поляне за большим отвалом Копыловский выпустил зайца. Ослепленный ярким светом, заяц сидел у ног хозяина, задумчиво опустив сломанное ухо. Валька хлопнул в ладоши, заяц прыгнул вперед, встряхнулся, пошел быстрее. Валька хлопнул сильнее. Заяц чертом околесил поляну и скрылся в кустах. Копыловский вытер со лба пот, сел на пенек, опустил голову, бормоча себе под нос:

— Ну и хорошо, ну и ладно...

В кустах хрустнул бурьян, Валька поднял голову, поправил очки. В двух шагах от него столбиком стоял заяц, а за ним чуть в стороне, скрытые кустами, замерли дед и Ольга. Заяц смотрел на своего хозяина, будто хотел спросить: «Ну, чем ты еще хочешь меня удивить?»

Валька опустился на колени, погладил зайца, сказал, шмыгая носом:

— Что ж ты ждешь, дурак такой?

Нельзя тебе в поселок — ты убитый.

Заяц пошевелил усами, вроде усмехнулся.

Валька закусил губу, рывком поднял ружье, целясь в зайца. Ольга не успела крикнуть, как стволы дернулись, уставились на кусты и грохнули сдвоенным выстрелом. В последний миг дед Егор сбил с ног Ольгу и упал рядом с ней. Когда развеялся пороховой дым, они увидели Вальку, сидящего на пне. Во рту его торчала незажженная папироса. Он чиркал о коробку спички, но спички ломались, и он доставал новые. Зайца на поляне не было. Писклявым от страха голосом дед Егор крикнул:

— Зачем по людям пуляешь, злодей? Я тут рассказывал, какой ты добрый, а ты...

Валька буркнул:

— Будешь тут добрым... с этим зверьем...

Владимир Мазаев

БАГУЛЬНИК—ТРАВА ПЬЯНАЯ

Так я скажу: что баба, что кошка—живучие. Бабу бей, бей, на другое место перетащи—оживела! Переселили мы лихие года, в нитку вытянулись, а главную заповедь исполнили, детишек оберегли, не растеряли, ни единого во всем поселочке!

И вот он, желанье сердца нашего—май. Отпраздновали мы Победу, отликовали; женщины наши пьяненькие песни попели на голосах, друг у дружки на плече выплакались, да и завтра опять в лямку.

А через месяц, под вечер время как раз, гляжу—соседская девчонка Настенька за калиткой скребется: тетка Мария, тетка Мария, беги в совет, телеграмма вам!

Я так и присела.

— Какая еще телеграмма, господи?

— А я почему знаю! Анна Филипповна велела мне рысью!

Анна Филипповна у нас бухгалтер в совете да и за секретарку она, а то за самого Ипполита Федосича.

— Чего ж ты не принесла?—спрашиваю.

— Дак телеграмма же. Расписываться надо.

Схватила я—и со двора, как была, разуткой. Бегу и обмираю. Бегу и обмираю. Сроду телеграмм боялась. Аж

душа спекается: неуж с Пашей что? Последнее письмо в мае было, аккуратно после Победы, из госпиталя. Мол, лежу на выздоровлении, а как, чего—ни словечка. Все бы ладно—да ведь не его рука! И с той поры опять ни слуху ни духу.

И тут на вот тебе—телеграмма!

Суеверная стала я за войну, ох, спасу нет. Как-то долго от Паши не было. Бознать, как долго, с полгода, это со Сталинграда еще. Почтальонка все мимо да мимо. И как-то раз стою, руки случайно так пальцами сцепила, идет почтальонка и еще издали письмо кажет: от Паши, жив родименький! С того случая впало в сердце, что сцепить руки—это мне к жданной вести.

И вот бегу в контору—от баба с глупинкой!—и одна заноза в голове: как зайду—не забыть руки сцепить, не забыть руки сцепить!

Не помню даже—было солнце, не было, прибежала.

Анна Филипповна за столом. Курит, бумажки какие-то на косточках перешелкивает. Она у нас характерная была, курила, нервы осаживала, на ней весь совет держался.

Протягивает листочек, так вот по концам запечатанный, а я не беру. В задышке стою вся, руки с порога сцеплены.

Взробела окончательно!

¹ Из цикла «Черемуховые холода (рассказы сибирячки)».

Рвите, говорю, читайте.

А она, смотря, улыбается. Чего — вроде того что — рвать мне, чего читать-перечитывать — и так знаю. Сама по телефону из района принимала, сама заклеивала! «Встречай четырнадцатого, поезд пятьсот-веселый. Твой Павел».

Села я на скамью, к стеночке, молю Анну Филипповну: читайте еще. «Встречай четырнадцатого, поезд пятьсот-веселый. Твой Павел». Она, родненькая моя, повторяет, а у меня в ушах только: встречай... твой Павел... встречай... твой Павел.

И тут подскочила я ровно змейкой щелкнутая: а сегодня-то какое? — Тринадцатое с утра было, — отвечает. — Выходит, завтра?! Господи, если по-доброму, мне затемно утром выезжать надо. Брички-то есть незапростанные? — Когда они были у нас незапростанные! — Это Анна Филипповна отвечает. — Но да ты лети на конный, к Брюхову, тебе дадут. Такой случай. А чуть чего, от меня, скажи. Да но! — и без того дадут. Он что, Брюхов — без соображения?

И верно — дали. Брюхов слова впроть не сказал, только постучал деревяшкой о пол в рассуждении. А когда уже помогал запрячь, сказал так: — Поздравляю, Мария. Павел, значит, у нас девятый будет. — И в догонку еще крикнул, чтоб лошадь не зажгла. Не гнала на радостях почем зря.

Подъехала я к дому, лошадь разнуждала, сенца ей. А ребятыньки мои уже вповал, спят. Ну, ладно. Была у меня в запасе толика муки, расшурудила я печь, постряпалась на скорую руку.

И только за окном стало зариться, бужу большенькую свою, Ольку. Она у меня уже пятый класс прошла, считай, невеста. Подымайся, доча, отца встречай едем! Она спросонок тычется, не знай, поняла, нет ли. Я тем временем Катю с Митенькой в охапку и на брич-

ку, они, холеры, хоть бы тебе стрепенились! Укрыла, в соломку утискала всех троих — поехали, таборяне!

До станции нашей, до Итатской, сорок с лишком километров. Повдоль берега Инголя, по таёжке, а там на свороток — и по колкам, по колкам на тракт. А уж по за трактом — колхозные поля. Согровый низинный лес вперехлестку с пашенными гривами. И уж до самой железной дороги глазу схватиться не за что.

Едем, трусим, на тракт выбрались. Солнышко выплыло, подводы навстречу, редко-редко машина обгонит, пыль взобьет. А пыль тяжелая, росная — ведреный день будет. Спит моя дивизия, только головенки по соломке катаются!

Ну — приехали: показалась станция, поселок большой, паровозы гукают, углем запахло. Подъезжаем, а там, проть вокзала, пустырек. Весь, ну как есть весь подводами заставленный. И народу, как мураша. Чистая ярманка! Раным-рано, часов шесть, а гляди ты!

По правую руку палисадик из ранеток, без загородки палисадик, столбцы торчат. Привязала лошадь за столбец, бужу Ольку, встань, доча, присмотри, я сбегаю, поузнаю.

Толкнулась в одно оконце, другое, да де там! Идет в красной фуражке, я к нему: когда пятьсот-веселый будет? — Это какой? С западного направления? — Ну да, оттуда, от Новосибирска. — С западного неизвестно. — Да как же неизвестно? — Так и неизвестно. На то он и пятьсот-веселый, да еще с западного! — Это красная фуражка уже на ходу мне.

Чтоб те стрéлило, думаю. Никто ничо не знает, вот порядочки.

Вдруг шум, гром — залетает на станцию состав. В брезенте весь, и парнишки на платформах, солдатики; да все молодые, загорелые, гимнастерки, как в щелоче выбеленные. А со-

став без остановки и дале. За ним вскоре другой, и тоже только вихорь следом. И все туда, на восток, на восток. Что за аллюр такой, война-то в другой стороне, да и та месяц как кончилась...

Вернулась к своим. Олька, моя дежурная, спит, я тоже — сена лошади труснула и под бочок к ребятишкам.

Лежу, а кругом народ гвалтится, разговоры, смех. (По разговорам, демобилизованный состав ждут.) Кто-то на гармошке играет да какие-то присказульки поет. Бабы, мужики. Больше баб, конечно. Ребятишек — хоть метлой заметай, так и шмыгают, рады суете.

Дрёма меня не знай как одолела. Ну, лежала, лежала и сбредила: будто сижу дома на приступочке, нитки на клубок сматываю. А другой конец Павлуша держит. Он держит, а нитка возьми да и порвись. Я свяжу только, а она снова. Смотрю я на Павлушу, а у него лица нету. Я как закричу и очулась тут.

Лежу, глупый сон этот на сердце переживаю. И не во сне уже, а вьяве хочу увидеть Павлушино лицо — и нет. Не получается. Плышет в глазах. Забыла! Да что же, думаю, такое?..

Гвалт тут, гам, закричали: демобилизованный подходит! Кинулись все гуртом к вокзалу, к линии, и я не усидела. Шмыг с брички, ребятишек покрывала и за всеми следом. Думаю: а не знакомого кого встречу. Да и так любопытно: фронтовички возвращаются, победители, родные наши. Хоть глазом глянуть, на людское счастье порадоваться. И еще мысль упала в голову: а вдруг и Павлуша тут! Ну — пересел там по пути или как ли, бывает же.

Поезд показался, паровоз с красной опояской. Потом вагоны разного обличья. Сперва пассажирские, пять или сколь там, а после уж простые, теплушки. И везде в дверях, в окнах —

лица, лица, лица. И все пожилые солдаты-то, в годах. Кто и с усами. Молодых и не видать. Старшие возраста, словом. Думаю: отвели войну, родимые, живые вернулись!

Затормаживает поезд, а мы повдоль стоим, скучились, замерли и не дышим, господи. Каждому своего увидеть! Вагоны тихонько так идут-идут. Тишина по толпе — вмертвую, мне аж озноб по телу.

А невдалеке от меня женщина, в платочке цветастеньком, кофта обшивочками — крестьянка обличьем, колхозница. Мальчонка возле нее, большенький уже. И вот как она стрепенется, вскричит: Ваня! Ванюша-а!.. — и сквозь людскую кипень к вагону.

Тут и прорвало. Что началось! Крики, плач, слезы; гармошка было где-то вскинулась — сплюснули гармошку! Я тоже стою и вот-вот зареву. Ах, бабоньки, бабоньки, думаю, страдалицы вы и счастливицы. Праздник-то, день-то какой!

Ой да что тут было! На гвардейца одного три женщины повисли и ни в какую (одна в годах, а те молодые). Он шагу не может, аж скраснел весь. А вокруг еще четвертая бегаёт, девчонка, за юбки тех дергает: — Папка, я счас, папка, я счас!.. — Смех и грех да и только.

Какой-то из демобилизованных, погоны горбыльком, вышел, выдрался, чемодан в охапке, а жена сбоку. Ему кричат: — Чего чемодан-то замест жены обнял? — Дак ручка оборвалась, — отвечает. — Ну ты хоть дома не забудь, — смеются.

Прошел состав, вернулась я, ребятенчишки мои, смотрю, проснулись. Сидят в соломе, как галчата, суёжата: где мы очутились? А Олька — та знает, спрашивает: — Где папка-то? — Едет еще, говорю, наш папка, скоро придет, ждать будем.

Пососкакивали они, запрыгали, у Митеньки глаза вразбежку, диковин-

кой все. Я сразу наказ: от брички никуда! Гляньте, какая беда народу, позапутаете, а тут линия, паровозы, транспорт кругом. Не наводите меня на нервы!

Прилегла сама, а не ложится. Смотрю, женщина мимо, чекушку в руках несет. Я возьми и спроси: дают де или как?.. Ой, да знатьё бы — дак лучше и не спрашивать и не видеть чекушки этой!.. Ну, спросила. Она: да тут, в коммерческом, на вокзальной, выбросили.

Думаю: ага, ради такого случая не слётать ли и мне? Деньги-то у меня были.

Раз-два, зарысила молода да заполюшная. Отыскала магазин, в самделе есть. Правда, очередь — хвост наружу.

Заняла, стою. И гляжу, финики выносят, а кто еще горбушу. Ну, рыба нам своя в глазах настряла; думаю: возьму ребятишкам фиников, какое-никакое лакомство.

Более часу уже стою, и обуяло меня беспокойство. А но как поезд пришел, а я тут за чекушкой перетаптываюсь. И всех, кто от станции, пытаю: как там пятьсот-веселый с западного? Нет, не пришел вроде.

Говорят люди «нет», а мне все одно беспокойно, душа дрожит, как бала-лайка. И стоять невмочь, и очередь бросать жалко. Вот такую себе раско-ряку устроила.

Ну, достояла, взяла — и чекушку эту несчастную, и фиников детишкам кинуло. Все денежки фуганула! А, думаю, жалеть. Теперь вдвоем — заработаем!

Бегу обратно чуть не впереверточки. Солнце уже на макушке, жварит по-чем зря — никакого спасу. Прибежала, а поезда нет как нет... Да и ладно бы нет, а то...

Прибежала я, а девчонки ко мне, хнычут: Митька потерялся де-то! Мы, мол, уже искали-перенесли...

Думаю: ох, дитё это половину веку мне убавит. От стервец, не мальчишечка, наказывала же куда!

Поскидала я свои покупки в бричку — пропади они пропадом! — и сперва в палисадик. Под деревьями тенёчек, люди и стоят, и лежат. Спрашиваю про мальчишку, не видели кто такого? Нет, не видели. Я вокзал об-скакала, там у крыльца легковушка еще была, и в легковушку даже за-глянула. Ну де еще? Ударилась на станцию по путям. На какие-то склады натакалась, там постовой, автоматом заляскал — чуть не заарестовал. Тьфу!

Вернулась к бричке, пот с меня ключом. И не знаю, куда бежать, де блудную коровенку искать, голова кру́гом. Может, в поселок удрал, в улицы, за мной следом да и заплутал там. Надо лететь в поселок.

И только успела подумать — вот оно тебе извещение: пятьсот-веселый на подходе...

Тут-то и завилась я в веревочку!

Села, вскричала: ой, что же нам, девки, делать-то, рази разорваться. То ли за мальчонкой, то ли отца, нашего папку долгожданного, бечь встречать.

Дак ведь и в самделе, доведись до любого, запричитает поди!

Вот чего, говорю, Олька. Ты оставайся возле брички, смотри тут, а мы с Катюшей на перрон. У самой сердце так и замозжило: а ну-к Павлуша инвалидом возвращается (сон прокляту-щий!), сойдет с вагона, а помочь неко-му. Что он про нас подумает...

Олька уперлась и ни в какую. Я тоже папку встречать хочу! — Нет, говорю, доча, сиди, смотри Митеньку, вдруг прибежит, а нас никого.

Тогда, говорит Олька, я его отлуплю!

Ой, ладно уж, говорю, отлупи, толь-ко не шибко: может, мальчишка и не виноватый.

Выскочили мы с Катюшей на пер-

рон, и вот он тебе, пятьсот-веселый, пыхтит подкатывает. Глянула — батюшки вы мои! В вагонах битком, как в хлебной очереди, в тамбурах и того чище. Всякого обличья — гражданские, военные. А кто из отчаянных и на крышу угнезвился... Действительно, веселый, веселее бы надо, да некуда.

Повалили, притиснули нас с Катюшей к заборчику, да ладно у самого выхода, всех видать. Подняла я девчонку на руки, стоим, выглядываем.

Я как увижу в военном обличье — сердце так и рухнет! А поближе — нет, не он. И особо гляжу, которые на костылях. Втемяшила себе: раз из госпиталя, значит, на костылях или с пустым рукавом (в письме-то недаром чужая рука).

А Катюша все канючит: — Мамк, я его признаю? — Признаешь, доча, почему же не признаешь. Ты только смотри востренько. — А он нас? — И он, говорю, признает. У него наша карточка есть. — А вот тебя он не признает. — Это она мне вдруг. — Почему же, доча? — А ты плачешь и некрасивая. А на карточке ты красивая, веселая. — Ой, правда, доча, умничка ты моя, дай тебя отпущу да вытрешь.

И стоим мы с ней как две забытых сиротинушки, пассажиров уже мало-мало, шмыгают только которым дале.

Стоим, а издали так, с конца, прямит на нас в защитном кителе. За плечами вещмешок, в правой чемоданчишко, на другой шинелка перекинута. Ну и прямо на нас так и целит.

Задрожало во мне все. И не признаю еще глазами, а в каждой моей жилочке крик: да он это!

Подошел, остановился, чемоданчик с шинелкой с рук выронил и обнял нас — меня и Катюшу разом.

Обнял он нас, колючий наш папаня, а меня глупую лихорадит: господи, с чего давечь сбредила, будто лицо его в памяти позабылось. Да никогда... Ни в какую жизнь... Умирала бы вдовой,

а каждую его кровинку помнила, с собой уносила...

Встретили, значит, идем. Катюша чемоданчик у отца перехватила, тащит как путёвая (кряхтит, а не отдает), я шинелку несущу. Павлуша чего-то спрашивает, я чего-то в ответ — впопад, нет ли, и не соображаю. Я, главное, брчку свою выглядываю, и уж брчку вижу, Ольку возле, а Митеньки, вижу, нет. От беда так беда...

Но, а дале... Ох, дале такой оборот случился, такой оборот — только руками развести. Митенька наш уже взрослый стал, отдельным домом жил, а мы всё его, как соберемся, так подзуживаем: а ну-к, Расскажи, как ты папаню с фронта встретил!

Ладно, подошли, Ольга увидела, как кинется к отцу на шею, распеловал он ее и уже заоглядывался: где же сын-то?

— Да здесь де-то мотается, бормочу, счас мы его сыщем. — А солнцепек кругом, спасу нет. В палисадике вижу тенёчек свободный. Я говорю: Павлуша, ты с дороги, усталый, в тенёчке пока посиди, мы его сыщем. — Беру охапку соломы с брчки и под ранеткой трушу (там же ни травиночки!). А у самой голос рвется... уж не владаю собой...

Труснула это я соломы, расклони-лась и как-то так глаза вверх спрокинула... Как-то так глаза спрокинула... а на ранетке, между веточек, пяточка грязенькая шевелится.

Батюшки святые!

Я в сторонку чуть, где прогляднее, а он вот он — весь тут, сыночек наш непутевый. На сучочке сидит, головку на развилочку приклонил, ручонки сцепил и спит. Спит, разъязвив его в мальчишечку, только губенки отдуваются!

Упала я тут на соломку — смеюсь и плачу, плачу и смеюсь. Гляди, отец, где твой сынок тебя встречает!

Павлуша залез остороженько на дерево, сонного на плечо и вниз, а внизу уж я приняла. Он проснулся, луп-луп, ничего не сообразит, почему смех. И как задаст реву.

Получилось-то как? Увидел мальчишка ягоду и влез, а та зеленцом еще. Ну — поел не поел, тут слышит — ищут его девчонки. И решил, поганец такой, в прятки с ними поиграться. Сидел-сидел, ждал-ждал, когда сыщут, да и заснул не дождавшись...

Выехали мы со станции далеко уже за полдень. Девчонки к отцу лепятся; большенькая, Олька, правда, как бы стесняется, то за руку подержит, то бочком прислонится. Митенька бычился сперва — совсем ведь папку забыл — а потом тоже размяк, даже разбаловался. Стянул с отца пилотку, медаль себе перестегнул, запрыгал по бричке, пришлось приструнить.

А уж Катенька — та на отце так висом и висела.

Едем, а солнце палит, зной. Павлуша китель растегнул, смотрю я: похудал-то как родимый. Ключицы хоть руками бери. Дак ведь не в гостях был — в госпитале, а в госпиталях не шибко-то растолстеешь.

И все хочу спросить, но все робею: куда раненый был. Ноги-руки вроде целые, голова, а письмá сам не мог. Ну, решилась, спросила: куда, мол, раненый? А он ребятишек чуть отстранил, приобнял меня за плечо, улыбнулся и: — Ты, Мария, спроси лучше, куда не ранен... — Сказал так, а я к руке его щекой прижалась и уж больше ничего спрашивать не стала.

Солнце в закат — мы к Инголю свернули. Въехали на крутик, бережок высокий, Павлуша заволновался, говорит: останови, хочу на озеро поглядеть. Четыре года во сне только видел.

Соскочил он, а я думаю: ага. Лошадь в сторону — и на покосную полянку, к стожку. Ребятишкам говорю: все равно домой засветло не поспеем,

собирайте плавник по берегу, костер запалим, ночевать тут будем!

Уж они запрыгали, заверещали, а я смеюсь, дурачусь вместе с ними, сама себя не узнаю.

Распрягла, стреножила лошадь, пустила пастись. И за ужин. Ребятишки вопят: купаться, купаться! Пускай и папка с нами искупается!

Да бегите, говорю, окупнитесь, хоть пыль с мордáх смоете.

Ведерко над огнем наладила, вышла на бережок, села. А мои внизу бултыхаются, визг, брызги, на отца верхом! Митенька-то голышом, Катюша в рейтузиках, а Олька — та в рубашонке, ну как же — ей уже стеснительно.

А я на Павлушу смотрю. Ой, родненький! Смотрю, через всю грудь белая борозда, на ноге вдавлики, как кто гвоздем ткнул да и осталось. А на спине так с блюдце вдолбина...

Искупились они, я ребят возле костерка усадила. Пожевали они у меня лепешек, огурцами похрумки. Отец американску колбасу концерву вынул — так давай сюда! Чаем с душианкой напоила. А теперь, говорю, вот вам кулек фиников, марш в бричку спать. Если мало соломы — сенца надергайте, не то к утру наготово околете.

Остались мы вдвоем у костра, я чекушечку достаю, протягиваю. — Ну что, муженек ты мой долгожданный, за встречу или как?

А он посмотрел так как-то... Так как-то посмотрел, говорит: — Неплохо бы, Мария, но мне, говорит, нельзя.

— Да эт как так — нельзя? — Вот так. Выписывали, сказали — забудь. — Дак ведь какое это питьё? Глаза тока запорошить. Я вот сроду не пила, ты знаешь, и на май победный едва пригубила, а и то сейчас бы... Вон Фомихин Антон вернулся вовсе без ноги, а так забуздзыривает — ой да ну, и ничо. А у тебя руки-ноги, слава богу, целы, схудал, правда, на больничных хар-

чах, но ведь дома теперь, в семье, быстренько в тело войдешь, наберешься... За встречу ведь, Павлуша...

Ох, да и правильно наша Анна Филипповна, секретарка, все, бывало, говорит: — У тебя, говорит, Мария, язык, как молотильная палка. Молотит и молотит. — Ну к чему я про Фомихина завернула, навроде как раззадорила...

Подсел Павлуша ко мне, обнял, приласкал. — Ну так и быть, жена, за встречу давай. За встречу нельзя не выпить. Одну наркомовскую я приму.

Пужинали, разговариваем, да больше я говорю, Павлуша спрашивает, что мы тут да как.

А уж звезды заяснели, ночь. Кузнечики стрекочут, лошаадь невадил фырчит, хрумает. Ушли мы под стожок, легли.

А за стожком — там уже некое, вроде сухой болотинки. Болотинка вся-вся, ну вся багульником обросла. Цвет густой, белый. И пахучий-пахучий, просто спасу нет, какой пахучий. Особо после ведренного дня, после зною. Походи по нему, пьяным сделаешься.

Павлуша спрашивает: — Чем это так пахнет? — Дак багульником, говорю, родной ты мой, забыл? — Ага, за-был.

Я руку ему под нателную рубаху просунула — и сразу на шрам натакалась. — Больно? — шепчу. — Нет, — тоже шепотом, — наоборот, кожа, как чужая, ничо не слышит. — А тут? — И тут тоже.

...Ой да и исцеловала я ему раны, изласкала его, изластила. Все мои ночи бессонные, все слезы выплаканые и невыплаканые — тут со мной были да и отлетели.

Не знаю как — сон примаял, уснула. Проснулась, ровно мне кто под бок льду подсыпал. Павлуши рядом нету! А уж небо слиняло, зоречки рассеяло, пицуги впересвист, утро.

Вскочила на ноги, озираюсь. Берег,

и дорога по берегу, и покос — все чисто, проглядно, а за стожком за нашим, по болотинке туман-ползун. И гляжу: Павлуша — ох, господи! — по туману тому уходит.

Окликнула его, а он без вниманья. Кинулась за ним, бегу, а никакой это не туман — багульников цвет! Спросонок-то бознать что смерещится.

Догнала, остановила, а он так на меня... Ну как сквозь стекло. И с лица смененный. Я страх испугалась! Обнимкой его, обнимкой, хочу повернуть, а никак. — Павлуша, чего ты, родимый, куда, идем обратно...

А он, ровно мои слова не к нему, отстранил меня, а после вдруг спрашивает, да жутко так:

— Где Хряпунов?

Рухнуло сердце у меня. Какой Хряпунов? Никакого Хряпунова тут нету. Это я, жена твоя Мария. Идем родственный.

А он, как окостенел, свое:

— Хряпунова ко мне!

Ой да лихо! Не могу с ним совладать. Нету тут Хряпунова, твержу. Детки наши есть, боле тут никого. Идем к ним, к детям. Олька там, Катюша, Митенька, все спят. Идем про-ведем.

И вот как я ему про детей затростила — Олька, говорю, Катюша, сынок Митенька, — он вроде обмяк, а я силком его, силком, чуть не таской — и обратно к месту.

Уложила, он лег, сама пала рядом, дышу, раскосмаченная вся. Он глаза закрыл, забылся. Жалость распламенила душу мне: повалилась я, обхватила ему голову, прижала к себе...

Прижала голову, затылок прижала, он... он как дернется от меня да прыскалит, ровно его проводом ударило!

Сел, а сам то землей возьмется, то весь как стенка. Скребнул он по мне рукой, оттолкнул меня, а на мне рубашка была миткалевая — так на ремки и пошла! Он на четвереньках,

ползет круг стожка, за стожок, ну как бы спрятаться от меня. Ползет и стоном стонет. И головой мотает... И уполз.

Кинулась я, оббежала стожок... Люди добрые, да что же такое делается?! Он на земле, а его веретеном, веретеном, так и завинчивает. Под ним кострига, бодылья покосные, он по ним и грудью, и лицом... и лицом...

Подхватила голову его на колени себе, держу, крепко держу, аж руки отерпнули. Бился-бился он, струной напруживался, а после стал притихать.

Притих, в поту весь лоб. А ото лба через висок ссадинка. Припала я к ней губами...

Осторожненько волосы ему на затылке подняла... Подняла-то я волосы, а там пролысинка, с монетку величиной. А вместо кожи пластиночка серебряная серебрится.

...Уснул он на моих коленях. Укрыла я его одежкой и сама легла и тоже уснула, да так крепко, как в воду канула.

И уж пробудило меня окончательно солнце, щеку подожгло. Как-то я так пробудилась, хорошо, тихонько-тихонько, ровно поплавочком всплыла... Глазами туда-сюда, ни Павлуши

около, ни ребятишек в бичке.

Да тут голоса вдалеке, с соседней луговинки. Смеются, слышу, перекрикиваются. И Павлушин смех тоже слышу.

Ой да сроду так поздно не просыпалась! Привстала на локоть, смотрю в ту сторону. Возвращаются они, идут все вчетвером, голосишки наперебой.

Аж зажмурилась я. Родные мои, счастье-то вы мое выстраданное. Отец девчонок то одну закружит, то вторую. Они визжат довольнехонькие.

А Митенька впереди, как мячик, в руке что-то, издали кричит: — Мамк, а мы с папкой жука поймали, щеко-тятся!

И Павлуша-то, Павлуша-то мой... лицом такой светлый, улыбается. С добрым утром, мол, с веселым днем!

Господи, или приснилось мне ночное все, сбредилось?

Подходит он, а и по глазам видать: не помнит ничего! Я скорехонько кофту на себя, лоскутки от рубашки запрятываю. Ну и ладно, ну и хорошо. И я ничо не помню, да и не было ничо. Истинно, что приснилось.

Гляжу на него, родного, тоже улыбаюсь. Вот только вижу, через висок ссадинка, которую, знать, я так и не зацеловала...

СЕМИНАР МОЛОДЫХ

Очередной семинар молодых литераторов Кузбасса (речь идет о его поэтической секции) не принес особенных открытий и неожиданностей. Но ведь различного рода открытия — это, так сказать, «побочный» продукт работы всякого семинара, его незапланированная прибыль. Что же касается основного — литературной учебы, живого общения товарищей по перу, живущих в большинстве своем за сотни верст друг от друга, — то тут семинар вне всякого сомнения принес немалую пользу.

Впервые всестороннему анализу и нелицеприятной критике подверглось творчество новокузнецанина Владимира Петраша, стихи которого не первый год появляются на страницах областной периодики. Товарищи и руководители семинара справедливо упрекали его в отсутствии творческого роста и даже в некоторой «сдаче позиций» — лучшие стихи в его рукописи написаны несколько лет назад.

А вот Владимир Иванов, мягкая и задушевная лирика которого также неплохо знакома читателям по газетным и журнальным публикациям, не останавливается на достигнутом, продолжает свой нелегкий поиск. Не случайно семинар принял решение рекомендовать рукопись В. Иванова Кемеровскому книжному издательству в качестве основы для работы над будущей книгой.

Интересными, крепкими стихами порадовал Леонид Торгаев из Белова. Немало запоминающихся образов, удачных четверостиший в стихах новокузнецанина Евгения Богданова, Иосифа Куралова (Прокопьевск). Однако и тому, и другому предстоит очень серьезная работа над языком и стилем своих произведений.

В этом номере мы предлагаем подборку стихотворений участников семинара.

Владимир Иванов

В пору ту, когда согрета почва,
Луг покрылся первенцем-травой,
Как милы мне ароматы почек,
Шум реки, дымок над головой!..

Но вдвойне дороже мне все это
Оттого, что домик наш — Земля —
Может быть, всего одна планета,
Где витают запахи жилья...



Поздний час. Тишина на дворе.
Темный полог завесил просторы.

И в полнеба, подобно заре,
Полыхают вовсю хлебозоры.
Осень...
Просится в почву зерно,
Спелый колос к земле нагибая.
Все так в мире и длится давно.
Эту осень заменит другая.
Всем живущим означен предел.
Все цветущее падает в землю...
Эту мысль постичь я сумел,
Но пока я ее не приемлю.
И с тоской не гляжу, как вначале,
Отцветающей юности вслед.
Ведь пронзительней видятся дали
Оттого, что прибавилось лет.

В небе стаи курлычут прощально,
И листва облетает окрест.
В эту пору не знаю печальней
Наших хлюпких болотистых мест.
И когда я бродил по раздолью,
Тем себя лишь порадовать смог,
Что заметил на краешке поля
Не по-здешнему синий цветок.
Тучи с севера зиму пророчат,
Но про это ему невдомек...
Что ж так поздно расцвел,
Колокольчик,
Безрассудный ты мой погремек?..

Подобрал я ее у болот.
Ковыляла несчастная птица...
И вот нехотя пищу берет,
Воду пьет, у окошка томится...
А куда ей теперь без крыла?
Ну, а здесь что за жизнь —
без свободы?..
Может, зря меня жалость взяла,
Зря вмешался в законы природы.

И снова веселая встреча.
И снова за шумным столом
Все те же заводим мы речи
Об этом, о том и о сем...
Хотя и люблю разговоры,
Охотно и сам говорю,
Но все же, устав от повторов,
Все чаще тропинку торю
Туда, где уже спозаранок,
Не зная, что создан словарь,
По рощам, лесам и полянам
Поет бессловесная тварь...

Засыпает дальний поезд.
Затихает жизни ход.
И медлительно, как повесть,
Время позднее течет.
Но очнешься на рассвете —
И не сразу разберешь,
Что, пронизан встречным ветром,
Ты качаешься, плывешь.
Проплывая перелеском,
Запах сосен различишь
И, раздвинув занавеску,
За окошко поглядишь.
Ветлы, сосны мимо, мимо
Убегают навсегда.
Бег колес необратимый...
Полустанки, города...
И в груди легко до стона!
Вдаль глядишь во все глаза.
Чувство Родины весомей
С каждым стуком колеса!

Приятель

Мой старый случайный приятель,
Случайно сойдемся едва,
Твердит неустанно, как дятел,
От чистого сердца слова:
«Что — жизнь?.. А... до верной
могилы

Мучительно долгий прыжок.
Вот так-то, наивный и милый
Мой юный товарищ-дружок.
Я много поездил по свету...
Что — счастье?.. Да розовый дым!
А истину горькую эту
Добыл я загравком своим...»
Толкует он резко и веско.
На то он имеет права.
Я слушаю все с интересом,
Но верю в другие слова.

Начало лета

Рвутся травы к свету, к лету,
Почки брызнули листвою —
Никакого сладу нету
С их атакой лобовой.

Все цветет, живет, ярится,
Полон звона оком.
Что-то доброе творится
В сердце любящем моем.

Жаждой жизни я охвачен
С головы до самых пят.

Засмеюсь или заплачу —
Пусть мне скептики простят.

Снова бодр душой и телом,
Проще, что ли, становясь,
С добрым словом, с добрым делом
Я налаживаю связь...

Ароматом тонким вышит
Путь груженого шмеля,
Полной грудью вольно дышит
Мать-кормилица — земля...

Иосиф Куралов

Кот печальный и суровый

Шел по улице дождливой
Кот печальный и суровый.
Шел, усы смешно топорща,
Лужи с краю обходя.

Он смотрел на всех прохожих
Иронично и тоскливо.
Не хотел он с ними явно
Ни в какой вступать контакт.

— Пусть спешат себе куда-то, —
Думал кот, шагая гордо.
— Пусть идут в свои квартиры,
Пьют из блюдцев молоко.

Я зато один — печальный,
Я один зато — суровый.
И усы мои на месте,
И иду, куда хочу!

Весна

Вся в солнце площадь,
Звон трамваев,
Улыбки на устах людей.
И, небо тучей покрывая,
Несется стая голубей.
Им покоряется пространство.

И нипочем им высота.
И кажется мне очень странным,
Что
Я
Ни разу
Не летал.

Леонид Торгаев



Мы топчем безжалостно травы,
Бессмысленно губим цветы,
Деревьям ломаем суставы,
Святой не щадя красоты.

Ждут помощи птицы и звери,
И рыба ждет чистой воды,
А мы, в наказание не веря,
Все ходим по краю беды...

Тут дело особого рода...
Но, люди, вы стали не те!

И тщетно взывает природа
К заглохшей людской доброте...

Неужто и в самом-то деле
В нас разума голос зачах.
Иль просто душой оскудели
В житейских своих мелочах?..

Смешным покажусь я, пожалуй,
Когда умиляюсь до слез
Травинке, букашечке малой
И светлой печали берез...

Осенний мотив

Сквозная откровенность линий
В объятых пламенем лесах,
И серебристый легкий иней
В твоих непышных волосах.

Живем, грехами обрастая,
Смеемся, плачем и бузим,
И иней в волосах не тает,
А за спиной уж сорок зим.

Вот первый снег... Он свеж
и бросок —
Его еще не ждали мы,—

Он, как талантливый набросок
К пейзажам будущей зимы.

Глядишься в зеркало с грустинкой,
Но понимаешь ли сама,
Что эта первая сединка —
Набросок к трезвости ума?..

А птицы к югу улетают,
И мир стыдливо обнажен...
С березок листья облетают,
Как подозренья с верных жен.

Утро

Планету крутят петухи
Сосредоточенно и мудро —
И, как прощенье за грехи,
Нисходит ласковое утро.
Прошив привычно облака,
Луч шаловливый протянулся,
Пощекотал Земле бока —
И мир взъерошенный проснулся.

И птицы сразу как-то вдруг
Засуетились, загалдели.
И вот уж брызнули из труб
Дымков зыбучие кудели...
Поднагулявши аппетит,
Идут по крышам кошки-блудни,
И человечество кряхтит,
Впрягаясь в яростные будни.

Весна

Ах, весна... Вновь огонь в крови —
Сердце разуму непослушно...
И девчонки слова любви
Принимают великодушно.

Яркость красок, чувств и берез —
В первозданном своем начале...
Сладость первых девичьих слез
От неясной беды-печали...

И, душою не так строги,
Мир мы заново открываем:
Забываем ссоры, долги —
Обо всем плохом забываем...

В небе солнца литой пятак,
Небеса чисты и бездонны,
И улыбки дарят за так
Поселковые наши мадонны.

У нас в гостях литераторы Венгрии

Многолетняя дружба связывает наш Кузнецкий край с далекой Ноградской областью социалистической Венгрии. Кемерово и Шальготарьян (центр Нограда) стали городами-побратимами.

По «мосту дружбы» между двумя областями уже давно протянулись добрые и самые товарищеские связи, идет широкий обмен делегациями.

За последние годы установились дружеские отношения литераторов Кузбасса со своими венгерскими коллегами. Не однажды они встречались и вели творческий разговор как на Кузнецкой земле, так и на земле Венгрии.

В 1974 году Кемеровским книжным и будапештским издательством «Корвина» был выпущен сборник стихов венгерских и кузбасских поэтов «Встреча». Продолжением этого творческого содружества стали обменные страницы в журнале «Палоцфельд» (Венгрия) и в нашем альманахе «Огни Кузбасса», который знакомит читателей дружественных областей с произведениями венгерских и сибирских писателей.

Сегодня у нас в гостях авторы журнала «Палоцфельд».

Лайош Палп

Их тела стали звездами

Поэма повествует о революционном этапе венгерской истории в 1919 году, когда народ Венгрии по примеру народов России создал республику Советов, о людях, которые, не желая участвовать в империалистической войне, стойко боролись и умирали за революцию.

Предлагаются отрывки из поэмы.

Их тела стали звездами в небе.
Очевидцы скажут о том,
Что слова передать бессильны
Сотрясающий душу гром,
Нарастающий над землею,
Разрушающий все и вся...
Ни на что уже не надеясь,
— Прекратите!—взмолилась земля.
А другим тишиной зловещей
В память врезалась та пора.
Тишина на людей давила,
Безысходная, как нора.
И хотелось сорвать рубаху
И оружие бросить в грязь,

Лишь бы снова светило солнце,
Ветер дул. И дышалось всласть.

И еще очевидцы вспомнят
Сад зеленый и дом в саду,
А потом его пепелище,
Обозначившее беду.
Почерневшие лица мертвых
С выраженьем последних мук,
Между ними красные розы
И жужжанье зеленых мух.
Перелеты их с роз на губы,
Чтоб оставить свою печать...
Кто такое увидит однажды,

Тот не сможет уже воевать,
Тот постылый окоп покинет,
Тот скорее умрет, чем убьет,
И приказу ответит смехом,
От которого волос встает.
Черви тоже воскреснуть не могут.
Но покуда вершат свой пир,
На неубранных трупах множась,
Голодает и гибнет мир.
Одевается мир в лохмотья,
Посылает на смерть полки...
Страшно, если на тело ребенка,
Как на праздник, ползут червяки.
Обагренную кровью землю
Полонили червей стада.
Если розы стали краснее,
То от гнева и от стыда.
Мощный колокол войн и бедствий
Сотрясает родные поля.
Ни на что уже не надеясь,
— Прекратите!— взмолилась земля.
(...)

Память сорок восьмого года!¹
Зазвучала, услышав весть,
Что поднялся народ России
За свободу свою и честь.
Весть о том, что господ прогнали,
Отобрали власть у царя.
Хлеб — голодным!
Земля — крестьянам!
Мир — народам!
Слова горят.
Солнце всходит для всей планеты
Одинаково по утрам.
Обращает призыв свой Ленин
К пролетариям разных стран.
В сердце Венгрии прорастая,
Новой жизни ростки встают.
И притихли на время жандармы,
Затаили злобу свою.
(...)

И однажды в разливе марта
Над деревней забрезжил свет:
Нет насилия, нет жандармов
И помещика тоже нет.
Шандор Пап вздохнул

с облегченьем:

¹ В 1848 году, во время освободительной борьбы против монархии.

Этот день пришел, наконец.
Он с улыбкою слушал вести,
Что поведал старик отец.
И пошел рассказать о первой
Небывалой еще весне
Ребятишкам — Жужи и Фери,
Вечной труженице — жене.
Нет теперь короля над нами.
Короли уступают власть
Коммунистам. Пришли Советы.
И Республика родилась.

Нам пример подала Россия.
Имя Ленина на устах.
Обретает Республика крылья,
Диктатурой рабочих став.
Революция мировая
Крепнет в строчках брошюр и книг.
Игнац Пап обнимает сына.
— Будет так!— говорит старик.
Будет так! Что народ лелеял,
Как несбыточную мечту,
Коммунисты делают явью.
Наши силы в борьбе растут.
Мир — народу. Земля — народу.
Счастье—в каждый крестьянский дом.

Это правда? Хочется верить.
Хорошо, если мы доживем.
Страстной верой дышали газеты,
Утверждали Советскую власть.
И политика новых законов
В интересах народа велась.
Посылали Сентеш¹, Вашархелья²
Агитаторов к жителям сел,
Чтоб крестьянин пошел за рабочим,
В нем опору и друга нашел.
Изгнан староста старорежимный,
Отступили покорность и страх.
И судьба деревенской общины
У Совета в надежных руках.
Шандор Пап, ты учился у русских,
Ты постиг их победы секрет.
И тебе доверяют крестьяне,
Избирая тебя в Совет.
Жизнь наладилась. Но мешали

^{1,2} Венгерские города.

Тень былого и боль утрат...
 Снова тучи закрыли солнце,
 И румынский пришел отряд.
 И надолго, видать. Поручик
 Снял квартиру, чего-то ждал.
 И дождался. Налет жандармов
 По деревне прошел, как шквал.
 Это было в конце апреля.
 Под защитой румынских штыков
 Началось выявление «красных»,
 Травля злобная большевиков.
 Шандор Пап успевает скрыться,
 Дальний хутор прячет его.
 А потом — на север, навстречу
 Зову жребия своего.
 И добравшись до Феледьхаза,
 Где борьба продолжалась, стал
 Добровольцем-красноармейцем,
 Немудреный принял устав —
 За свободу, за хлеб, за землю
 Жизнь отдать, победив навек.
 Атрибутом солдатской формы —
 Лишь повязка на рукаве.
 Нет винтовок — в бою добудем.
 Нет патронов — штыка удар.
 Эта схватка будет смертельной,
 Говорил бойцам комиссар.
 И бойцы уходили к Чонграду¹.
 Красных рот все теснее строй.
 Здесь дивизия сформировалась.
 И называли ее — шестой.

Он нашел в ней много знакомых
 И доволен был долей той,
 Чтоб в Галиции, за границей
 Слышать рядом язык родной.
 Знать значительность общей цели,
 Ощущать единый порыв —
 Милой Родине обеспечить
 Наступленье счастливой поры.
 И когда тишина ночная

Окружала бойцов у костра,
 Шандор Пап любил их любовью,
 О которой не ведал вчера.
 Ветер с Родины — и на сердце
 Поневоле у всех одно:
 Как без нас там хлебное поле?
 Полновесным ли будет зерно?
 (...)

Шаг. Второй... Нету сил на третий.
 Он упал в траву навсегда.
 И в глазах его медленно гасла
 Затерявшаяся звезда.
 Заалело уже на востоке.
 Просыпались птицы в кустах.
 От попытки вымолвить слово
 Только струйка крови у рта.
 Что хотел он сказать, завершая
 Свой суровый и честный путь?
 Только сдавленный хрип из горла
 От попытки последней вздохнуть.
 Холодеющий, как скульптура,
 На траве лежал, недвижим.
 И заря, словно красное знамя,
 Не спеша склонилась над ним.

Так лежал он, раскинув руки,
 Отдавая земле тепло.
 Отражало дневные блики
 Потускневших зрачков стекло.
 Ветер дул на него, немого,
 Как на сирый покинутый дом...
 Погрузили его на телегу,
 Схоронили его за холмом.
 Только бабушка через годы
 Рассказала однажды мне,
 Как лежал он у самой речки
 В майских травах, в густой тишине.
 И когда я смотрю ночами
 В небо звездное, иногда
 Вдруг мне кажется, что печально
 Улыбнулась его звезда.

Перевод Г. Юрова

¹ Венгерский город.

Ференц Ханн

Город

Где когда-то
тени ленивой травы и лопуха
дружили
под желтым небом

и звенел
одиноким голос
птицы
над зарастающими
лужицами копыт

где все было проклято
под капюшоном
ветра
укрывались
отверженные,
Там город теперь стоит
его лоб

уперся в горы
с терпением железобетонным
и из-за звезд электросварки
оглянулся человек

1919
под разрушенным
небом
из-под штукатурки
тускнеют
разбитые звезды

ржавкнет металл —
и улыбка бога
расползается траншеей
бесконечной

нет жалеющего сердца
нет песни
только приказы железа

Город
огромный черный песок
на котором ночуют
вороны оперенные расстрелами
оковы бряцают

вместе с пением петуха
«...пришли
одетые в ночь
рассыпая цветы выстрелов

поймали Павла Трайбиара
утащили в Далекгород

пришло письмо
что его убили
с пятью другими похоронили

слепы их глаза
глухи их уши

мхом зарастают сжатые кулаки...»

1945
звени железо
звени
опадайте оковы
кончилось время цветения пороха
среди потрясенного мироздания
опадай униформа рабства
осветись лицо
ведь мечта здесь
в одежде

пылающей вечным огнем
под надломленной аркой
прошлого
камни
расцветают
по пустыням барачных
бежит молва
свежего ветра

Город
пробудился
под солнечным светом

1958

как
белое тесто
замешанное женщиной
растет
напрягается
Город

на железных лужайках
железных лесов
труба поет
песнь радости

уголь визжит
когда его надкусывает быстрая
кирка

по мелодиям рельсов вагонетка
бежит
праздник в белой рубашке
стучит
в дверь кухни

из волос девушки
красной бабочкой
вспорхнула лента
в небо

1972

1000 детей
в лабиринтах музыки на площади

свежий запах газет
свежий запах хлеба
свежая музыка мускулов
на вершине

Прошлого
Настоящего
Будущего
цветет красная малина

красные платки развеваются
над подъездами Города

Машины звонко кричат
«хали-хало!»

красный мяч
взлетает
до самого неба

в движении скульптора
Прошлого
и
Будущее
спорят

на кончиках пальцев
голубь отдыхает

свинцовые трубопроводы топают
скрипят жилы слепых
кабелей

человек молчит
в минуты таких чудес

и кричит
железо

Перевод А. Ибрагимова

Палоцфёльд

от испуганного
барахтанья
к прямым и открытым путям
ты меня отводил.
После фокусов шумных
богатых витрин
я упал на тепло
твоих темных морщин,
и мне так хорошо
было плакать.
Те, кого посылают отсюда,
отправляются не по приказу,
только посох в руке,
сумка через плечо,

направление укажут
подсолнухи
да поможет им крепкая вера
предков упрямых.
Немногословная земля
веселья и тоски!
И проклиная и благословляя
тяжелую твою неторопливость,
приветствую твоё
прекрасное лицо
в моих ладонях.
Ой, мала, как ладонь,
страна моя!

Туманом дышат

горы Матра,
из мрака
на деревья сходят
от звезд серебряные искры.
И прошлое
бесшумно пережевывают
баранов кроткие стада.
И кладбищ синие стога
зажигаются
там, где пределы бытия.

И в оперение жилья
под крыши зябнувших домов,
как будто птица под крыло,
засунет сизый клюв
забота,
пока заснет вверх
луна
в тумане пепельном
Кончуров.

Пузырьки

плывут
по воде.
Майский ливень
идет по излучкам.
И слова мои
там, вдалеке,
ожидают эхо.
Мокрый

маленький жук
приземлится
на моем обнаженном плече.
И настойчивый запах
кукушкиных слезок
мне напомнит опять о тебе.

Перевод С. Донбая

Бела Вихар

На вечерних прогулках

Если мир не можешь спасти,
Все равно поступай так,
Как будто только от тебя зависит
Победа Хорошего.

* * *

Помоги своему сыну
Стать достойным представителем
Своего поколения.
И пусть он не будет твоей копией,
А будет лучше тебя.

* * *

Этот — хороший народ,
А этот — плохой, —
Ты судишь самоуверенно.
Но разве не знаешь ты,
Что люди мира
Так похожи друг на друга.
Только каждый народ
Имеет свою землю, свою историю,
Свое правительство — того или иного
типа.

* * *

Верный помощник художника —
Это его судьба.

* * *

Как мы трудно меняем
Привычное на необычное,
Если даже привычное —
Это плохое,
А необычное —
Это хорошее.

* * *

Печаль — это дочь поэзии,
А радость — ее сестра.



Янош Лорант. Весна

* * *

Пафос порой бывает
Верным спутником лжи.

* * *

Ты книгу в руки взял.
А это значит — добра и правды
Ты открыл страницы.
Когда-то боги в зависти своей
Нам отказали в познании порядка мира,
Его законов и хитросплетений,
В переживании многих тысяч жизней.
Наверно, не хотели боги,

Чтоб мы проникли взором
 Во глубину:
 Чтоб мы не ведали различья
 Хорошего с Плохим,
 Чтобы не переплыли
 Мы штормовое море
 Былого и Грядущего.
 Чтоб не срывались с круч,
 Не поднимались на вершины.
 Но мы владеем опытом времен.
 Нам этот опыт дали книги.
 Читая их, мы умножаем самих себя.

* * *

Почему мы охотнее служим
 Красоте, а не доброте?

* * *

Человеку, а равно — и его таланту
 Иногда приносит пользу неудача.

* * *

С одними — я несогласен,
 Хотя понимаю, что они —
 Интересные люди.
 Даже ошибки их и те —
 Интересны.
 А вот с другими —
 Я в полном согласии,
 Хотя эти люди бесцветны.
 С первыми — часто спорю,
 Иногда они меня бесят.
 Со вторыми —
 Мне попросту скучно.
 Очевидно, во всяком деле
 Есть свой порядок,
 Своя пропорция.
 Ни одно произведение
 Не может быть лишено того,
 Что мы называем математикой,
 А точнее — расчетом.

* * *

Чем тише мы говорим,
 Тем слышнее и искренней голос боли.

Перевод В. Васильева



Андраш Фаркаш. Мать с дочкой

Михаль Баба

ПОСЫЛКА

Солнце еще не выкатилось из-за хребта хлева, а он уже работал во дворе. Подмел гумно, потом сел на чурбак, вытащил из кармана тесемку, связал ею потуже метлу, попробовал, удобно ли держать, поправил черенок и поставил метлу в угол возле входа в хлев. Обошел сад, собрал ветки, поправил в ограде дощечку, потом опять долго возился во дворе. Вынес топор, наколот немного дров, перерубил на две части толстый корень и сложил все на верх поленицы. Сложил аккуратно, так, чтобы, если пойдет дождь, вода стекала на землю.

Жена, выглянув из кухни, позвала его завтракать. Он вошел в дом, положил шляпу на постель, сел на диван. Некоторое время молча наблюдал, как жена суетливо ходит туда-сюда по кухне, а когда она поставила перед ним сало, поджаренное до румянца, уткнулся в тарелку.

Старушка села напротив и не спеша стала есть хлеб, обмакивая его в вытопившийся из сала жир.

— Я зарублю две курицы. Сварю бульон с тестом. Тесто есть. А мясо — зажарю, когда они приедут. Скорее всего они после обеда приедут...

Он пробормотал что-то, вытер рот, подкрутил усы и вышел. Выпустил во двор свинью. Коровы у них не было. Свинья да несколько куриц — вот и вся домашняя живность. И тут ему

пришла мысль: сделать для свиньи загородку и засеять двор травой. Чего ему пустовать. Трава вырастет — можно будет косить, и тогда не придется таскать для свиньи сорную траву из сада.

Решив так, он принялся распиливать доски, готовить столбики. Потом вынес коробку с гвоздями, выпрямил ржавые, гнутые. Возле хлева ровными шагами отмерил длину и ширину загородки, наметил, где встанут столбики, где будет дверца, вынес лопату. Выкопал первую ямку, и дыхание его сбилось. Решил передохнуть. Достал из кармана трубку, закурил. Услышав острый свисток поезда, поднял голову.

«Может, они сейчас приехали? — подумал старик. — Они должны приехать... Ради матери. Понятно, у каждого дела, заботы. Но ведь это пятьдесят пятая годовщина. Когда человеку восемьдесят, ему уже немного осталось...»

Он вспомнил, как все дружно собрались на их пятидесятую годовщину, золотую свадьбу. А теперь они с женой, наверное, напрасно ждут — не приедут. Даже ни письма, ни какой другой вести от них не получают. А в доме, в прибранной горнице, стоят две большие бутылки с вином, лежат колбасы, сало, праздничный пирог...

На бетонном тротуаре послышались шаги. Прислушавшись, старик подо-

шел к ограде, выглянул на улицу. Она была видна из конца в конец. По тротуару, нарушая тишину, цокали сапоги Дани Вереша.

«Нет, с этим поездом они не приехали». — Вернулся и снова стал выкапывать ямки для столбиков. Не спеша, аккуратно вынимал землю и изредка поглядывал в сторону дома, где под навесом жена ощипывала двух куриц. Из трубы кухни вился тонкой струйкой синеватый дым. Всем соседям видно, что тут жарят-варят, что в этом доме ждут гостей.

Жена унесла ощипанных куриц в дом. Теперь уже и она убедилась, что с этим поездом они не приехали.

Выкопал ямки для столбиков, пошатываясь, подошел к чурбаку, сел и почувствовал, как сильно устал. Дышал тяжело и часто. И думал, что все равно это лучше, чем лежать. Просто лежать и думать. Он не любил постель. Она может до того довести, что и ходить-то разучишься. Вот тогда жена совсем одна останется, некому будет даже дров ей наколоть... Когда Йулишка, самая младшая, уезжала с мужем в Будапешт, зять звал их жить к себе. Это правда. Но старики отказались.

— Нет, сынок, — сказал он тогда зятю, — не сможем мы там. Здесь родились и прожили век и мы, и наши отцы, и деды наши. А потом: как с домом? Надо же кому-то его сторожить. Это ваш дом.

Напрасно спорили с ним, убеждали продать дом, потому что никому из детей он не нужен, старик только обиженно молчал. Вот и остались они тут одни. Андраш, самый старший, еще до войны переехал в Дебрецен. Тери — в Мишкольц: муж ее устроился на заводе. Петер работает в Будапеште кондуктором. Шандор в министерстве, Йулишка в университете. Летом старикам хорошо, весело — приезжают на каникулы внуки. Все они такие резвые, звонкоголосые. От их

беготни дом ходуном ходит. Но все равно это лучше, чем постоянная тишина... Пенсия у стариков небольшая, но помогает приусадебное хозяйство, сад. Но в будущем году, наверно, придется отказаться от хозяйства: тяжело, нет уже сил обрабатывать его.

Сидит он на чурбаке, сосет трубку, попыхивает. Прошла мимо жена с корзинкой для дров. На обратном пути остановилась возле мужа:

— Что ты там накопал? — показала на ямки.

— Свинье клетку делаю.

— Зачем?

— Хочу двор травой засеять.

Старушка поправила черный платок. Заправила под него пряди волос, похожие на волокна конопли.

— Красивым будет двор, зеленым. Вот внучата порезвятся.

— Да...

Помолчали. Оба подумали, что все забыли их, стариков, но вслух не высказали этого. Жена подняла корзинку с дровами.

— Делай... Наверное, они с трехчасовым... — она не договорила, муж и так поймет, о чем она. Он кивнул и продолжал сосать трубку.

Жена, шаркая ногами, пошла к кухне. Он поднялся и принялся ставить в ямки столбики. Заходил с одного боку, с другого, прищурив глаз, выверял, ровно ли стоят столбики, поправлял их, сыпал в ямки землю, утрамбовывал. Присаживался на чурбак отдохнуть, рассматривал поставленные столбики. Оставшись довольным своей работой, подкручивал усы. Покурив, снова принимался за дело...

Время будто остановилось. Солнцу никак не хотелось двигаться по синеватому небу. Когда лоскут облака набегал на солнце, старик поднимал голову, будто желал убедиться, что уже начинаются сумерки. Но приходилось разочарованно крутить усы.

Послышался полуденный звон коло-

кола, и снова тишина. Нигде ни души. Редко-редко доносятся с улицы чьи-нибудь шаги. Оживленно в селе станет только к вечеру, когда люди с работы пойдут домой. В это время старик обычно стоит у ворот. Здороваается со всеми знакомыми, о чем-нибудь коротко разговаривает с ними. Спрашивает, кто где сегодня работал, что там на полях, каким обещает быть урожай. Потом он целый вечер бормочет что-то, курит, бывает, переругивается с женой. Но сейчас еще далеко до вечера. Сейчас еще только полдень. И если дети приедут, тогда...

Он старался не думать о детях. Работал, строил загородку. Прибивал доски, протягивал по верху проволоку. Изредка посматривал, как хлопочет на кухне жена.

Дым из трубы уже чуть-чуть струился. Наверное, кастрюлю она уже сняла с плиты, чтобы не перекипятился бульон. Обычно в это время они садились обедать. Но сегодня, он знает, пока не придет трехчасовой поезд, обедать они не будут...

И вот пришел трехчасовой. Старик ждал. Он мысленно шагал с детьми от вокзала к дому. Уже время бы дойти... Нет, надо подождать еще немного: они могли встретить кого-нибудь из знакомых, как тут не поговорить... Но говорить так долго... Значит, не приехали... Теперь уже не приехали...

Жена вышла на крыльцо.

— Пойдем есть.

На столе уже было все готово. Но тарелок стояло только две. В бульоне плавали крупные звезды жира, мясо мягкое, булочки пышные, свежие — все свежее. Но старик ел, а вкуса еды не ощущал, не испытывал никакого удовольствия.

— Может, вина выпьешь? — спросила жена. Ее глаза были красные, должно быть, часто их вытирала. Плакать она уже не умела, но иногда глаза ее слезились.

— Пожалуй... Пожалуй, выпью, — сказал он.

— Мне самую капельку...

— Капельку, конечно, капельку, ведь все вино состоит из капель. — Налил в стаканы золотисто-желтого вина.

— Бог с нами и с нашими детьми, — подняла свой стакан жена.

— Бог... — согласно кивнул головой старик и выпил.

Пьет он совсем редко и без особого желания, но сейчас захотелось еще, и он налил себе снова.

Во дворе послышался лай собаки. Старики взволнованно переглянулись, встали. «Приехали», — подумали оба, но ни он, ни она не посмели выговорить это вслух.

На пороге появился почтальон. В его руках были две посылки.

— Добрый день, тетя Тери! Добрый день, дядя Янош! Вот посылки вам. Одна из Будапешта, другая из Мишкольца. А еще две телеграммы и письмо. Никак у вас какой-то праздник?

— Да, да, — сказала жена. — Пятьдесят пять лет нашего супружества.

Почтальон подал дяде Яношу расписку. Руки старика дрожали, и расписался он с трудом.

— Выпей с нами, — пригласил дядя Янош.

— С радостью выпью за выше здоровье. Такая годовщина! Пятьдесят пять лет делите вместе радости и горести, — принял стакан, поднял его. — Доброго здоровья вам, дядя Янош! Доброго здоровья вам, тетя Тери!

— Спасибо, — сказали старики.

— Значит, никто из них не приехал? — участливо спросил почтальон.

— Никто.

— Уж эти сегодняшние дети, — вздохнул почтальон. — Мои двое тоже в какую даль укатили и лишь изредка письма присылают. Когда люди стареют, о них почему-то забывают. Обидно... Помрем — они и на похороны не придут...

Дядя Йанош подкрутил усы, покачал указательным пальцем:

— Не согласен я с тобой. Возьмем моих. Ни один из них сегодня не приехал. Верно. Но почему? Должно быть, есть у всех на то причина. У каждого работа, разные хлопоты. Одной, может быть, не дали на фабрике отгул. Тот, что в министерстве работает, поздно домой пришел, утомился, а у Йулишки, наверно, опять заболела девочка... Но все-таки они же не забыли нас совсем. Вот посылки, телеграммы принес ты от них... Да и все они недавно гостили у нас. Когда можно, они всегда приезжают. Напрасно ты так...

Почтальон подумал, что он не совсем то сказал и немного сконфузился.

— Не обижайся на меня, дядя

Йанош. Ты правильно говоришь. Не сердись на меня, ну... — сдвинул свой стакан со стаканом старика.

Почтальон, еще раз пожелав старикам всего доброго, ушел. И они опять остались вдвоем.

— Ты правильно сказал ему. Наши дети не такие. Хорошо сказал... Не приехали — значит, есть какие-то причины...

Старик только кивнул головой. Он взял нож и разрезал на посылках шпатель. И он, и его жена думали о том, что сегодня их годовщина, но никто из детей не открыл дверь дома... И все-таки они еще надеялись: сыновья и дочери могут приехать с каким-нибудь вечерним поездом... Может, они еще приедут...

Перевод Вл. Куропатова

Йожеф Пал

ЛЮДИ С ОКРАИНЫ

— А где папа? — спросил он.

Мать, привычно растрогавшись при встрече, продолжала мешать отруби с вареным картофелем (оправдываясь: «животных надо кормить»). И уж потом только ответила:

— Ушел на кладбище.

Мать сказала, кого сегодня хоронят, но юноша не помнил умершего. Мать всегда, когда он приезжал домой, начинала разговор о том, кто умер, кто женился, у кого родились дети. В первые годы он еще удерживал в памяти имена и лица, о которых сообщала мать, но потом они стали как бы растворяться, смешиваясь с другими его воспоминаниями. И часто он не знал, о том ли человеке идет речь, кого он пытался воскресить в своей памяти. Случалось, что о мертвом он думал,

как о живом. И чем более сокращалось поколение стариков, тем все чаще и чаще он путал умерших с живыми.

Он не стал дожидаться отца дома, а пошел на кладбище, чтобы встретиться с ним у могилы.

Он никогда не задумывался о своих отношениях с родителями. Если они противились его решениям, это для него было всего-навсего мягким ветерком, ведь стоило ему уехать, и их воля уже не доставала его, и он поступал в соответствии со своими убеждениями. А возвращаться домой он любил, точнее говоря, ему иногда нужно было возвращаться домой, к ним.

Входя в автобус, он сразу ощущал запах опилок с соляркой. Соляркой смазывали пол и посыпали опилками, чтобы не поскользнуться. Он вспоми-

Нал, что всегда, с октября до первых морозов, до первого снега стоял в автобусе этот запах, и потом еще весной, если весна была дождливой. С конца ноября автобус пропитывался хвойным елочным запахом. Его односельчане везли из города домой хорошенечкие деревца, перевязанные веревками и затиснутые на багажные полки. В конце лета распространял терпкий запах мокрых опавших листьев сушеный гриб. Восьмиклассником он каждый раз при поездках, вдыхая эти запахи, думал, что не раз еще воспользуется ими, как и его отец, тащивший в дом всякие ржавые железяки и подобный им хлам, считал, что когда-нибудь они ему пригодятся. Он как бы коллекционировал эти запахи, выключал внимание и мысли и впадал почти в транс, ощущая только их, таких знакомых и неповторимых.

Лишь только он удалялся от города, все связанные с ним невольные воспоминания как бы теряли свои очертания, и трудно было поверить в их реальность. С последнего подъема, откуда город был еще виден, хорошо просматривался лежащий внизу огромный промышленный край. Трубы отсюда казались сигаретами, здания — пакетами, разбросанными в сплетении долин, которые невозможно нанести на карту. При каждом возвращении домой ему мнилось, что плывет он против течения в очищающей душу воде, достигнув же середины русла, дотянувшись до горного хребта, откуда виднелось родное село, он уже заранее предугадывал все, что его там ожидает.

Когда он дошел до кладбища, люди уже отошли от могилы. Его встретили хлопки мотыг, формировавшие могильный холмик. На близких и родственников умершего эти хлопки уже не производили того впечатления, когда земля стучала по крышке гроба, заполняя яму, и как бы говорила, что

возврата к прошлому нет.

Отношения его с отцом в последние годы постепенно стали походить на отношения с матерью. В морщинистых уголках отцовских глаз собиралась влага. Чтобы не выдавать свою слабость перед другими, он втягивал шею и как бы впадал в забытие. На остро-ты друзей сына отвечал половинчатой скошенной улыбкой. Юноша смотрел на старых родителей молча и лишь иногда смеялся вместе с ними. И потому, что он почти не разговаривал, старики забывали о нем, как будто его и не было рядом, и начинали говорить о своих делах.

Возвращались домой.

— Ну, и ты тоже боишься? — спросил у отца один из его друзей.

— Знаешь... уже нет... — отец немного подумал и добавил: — До сих пор я боялся, а теперь уже нет.

— Посмотришь, я еще поживу! Я еще попою, поем! Я еще поживу! — похвастался отцу старик.

— Если он умрет в течение месяца, ему не придется ждать свечей целый год. Ведь в прошлом месяце я зажигал свечи у могилы его жены, — медленно шагая, говорил отец, и казалось, что он ничего больше не слышал.

С того момента, когда отец впервые пожаловался на свою память, он понял, что к отцу пришла старость. Перед пенсией он стал забывчивее. Возвращался, бывало, из совхоза домой и не понимал, почему бьет в глаза солнце, хотя и опускал голову все ниже. И только дойдя до окраины деревни, замечал, что оставил на работе шапку и потому ничто не защищает от солнца его глаза. В другой раз его удивило, что сильно вспотели ноги. Оказалось, он шел в тех теплых ботинках, которые надевал на заводе, когда имел дело с брызгающим горячими искрами металлом.

Они повстречались с согбенной старушкой.

— Откуда вы, Иани? — спросила она.

— Ох, тетя Йулча, разве вы не знаете, что умер Петро Менди? Его уже похоронили. Лучше спросите, куда мы идем.

Юноше всегда была по душе эта деревенская привычка. Здоровались лишь дети, воспитанные школой. Но и они, повзрослев, вместо обычного приветствия, точнее, это и было приветом, сразу спрашивали: откуда ты? где был? куда собираешься? Ответом на эти вопросы, если спрашивал не близкий родственник или хороший знакомый, было обычное: только отсюда, только тут, только туда. Когда он, солдатом, после долгого отсутствия, вернулся домой, его, лишь только сошел с автобуса, сразу спросили: откуда ты? И он, внутренне смеясь, ответил: только отсюда. И ночью, во сне,

этот вопрос вернулся к нему. По деревенской площади проходили женщины и девушки, поодиночке и попарно, выпрямившись, как солдаты на параде, и все спрашивали — не голосом, а изысканными движениями тел, протягиванием рук или наклоном головы: откуда ты пришел? где ты был? куда ты собираешься? Он не мог вспомнить ответа, или не хотел, или не было никакого ответа...

Дома мать поставила перед ними яичницу. Она сторожила ее на плите до их возвращения. Отец достал из-за двери бутылку, наполовину наполненную вином. Пили они вдвоем, мать стояла возле стола с пустым стаканом, лишь душой участвуя в таинстве, когда чокаются два человека.

— Хорошо ли живешь, сын? — отец поставил свой стакан на стол.

— Помаленьку, папа.

Эндрэ Герельеш

ПОКАЗАНИЕ

Жизнь моя шла наперекосяк, совсем не так, как мне хотелось. Нет, не поймите меня неправильно: я из тех порядочных и сильных рабочих, кому немало пришлось пережить и выстрадать. Если вы хотите узнать, как мои плечи вынесли тяжкую эту работу, то, не ударяя себя кулаком в грудь, могу сказать, что я всегда стоял на том месте, где это было нужно.

Поверьте, моя жизнь была не из легких. Меня гоняли, как собаки гоняют лисицу. И все равно те подлые стражники в сорок четвертом году не смогли меня выследить, потому что вся

земля Шальготарьяна просверлена шахтами. Когда пришли первые призывные повестки, я, можно сказать, впал в отчаяние. Ведь у меня были дети, жена. Я сказал им: «Не орите, вас то наверняка не тронут», достал им еды, а сам постарался исчезнуть.

Мы пошли в лес Надьсилваш, вы знаете, это место недалеко от дороги, там еще довольно густые деревья и овраги. Нас тоже нелегко провести. Если стражники станут нас искать, думали мы, то за нашей спиной есть вход в шахту, и если уж они так любят разыгрывать из себя героев, то пусть

попробуют туда сунуться. Вот так мы спокойно и жили-были. Да, подождите минуточку! Все это произошло тогда, когда на Центральной площади немцы повесили двух венгерских солдат, потому что они были дезертирами. Ну, конечно, мы не могли допустить, чтобы и с нами сотворили такое.

Нет, извините, я не был коммунистом, нет... я даже боюсь их, ведь о них говорили, что они отнимут у меня дом и такое еще натворят... Об этом я говорю, чтоб вы хоть приблизительно знали, каким типом я был в то время.

Однажды все-таки в лес пришел патруль стражников. Их было трое, они жались друг к другу, как бараны, хотя это были самые настоящие волки, потому что каждый имел оружие. А мы стояли в кустах без какого-либо оружия, смотрели на них и видели, что они здорово трусят. Среди них я узнал Йожи Нергеша, рассердился на него и крикнул: «Я узнал тебя, растуды твою мать, попробуй-ка сюда сунуться!». Они, конечно, не подошли. И мы отпустили их... хотя поймать их нам, безоружным, было невозможно.

Ну, одним словом, так вот мы и увернулись от военной службы. Потом прошли годы, один за другим, я много видел плохого, видел и много хорошего. Поверьте, если я и вспоминаю прошлое, то скорее для того, чтобы понять, куда девалась моя прежняя храбрость. Ведь там, в лесу, я так смело накричал на тех подлецов, что они с оружием в руках трусливо отступили перед безоружными людьми. А теперь я и сам чувствую, насколько я стал мелок. Во мне уже нет прежней смелости и веселья. Человека можно определить и по голосу, насколько он храбр. И я все пробую и пробую свой голос, но он мне уже не нравится.

Все-таки странно, что думать об этом я начал лишь тогда, когда Элизе-

уш Сабо и Боксош уже стали известны своими делами.

Кто они? Пожалуйста... Это мои односельчане. Бедный Элизеуш, — бог с ним! — можно даже сказать — однокладбищанин. То есть он умер. Я тоже хочу почивать где-нибудь рядом с ним.

Так вот, знаете, этот Элизеуш был очень хорошим портным, шил одежду для мужчин и для женщин. Да, в нашей деревне. Деревню рассекает ручей. Он мелок, как все ручьи на севере от гор Матра, где мы живем, всего три-четыре сантиметра глубины. Но зато после ливня вода в ручье за один лишь час поднимается до четырех метров. Поэтому русло ручья очень глубокое.

Ну так вот, однажды Элизеуш крепко выпил со своими друзьями, характером он был веселый мужик и на мосту, возвращаясь ночью вместе с ними, оттолкнул друзей, вскочил на перила моста и прыгнул вниз. Пьяным, конечно, всегда везет, потому, наверное, он так удачно приземлился. И с ним ничего не случилось, лишь замочил ноги. Друзья испуганно метались по мосту, а он раскинул руки и закричал: «Меня зовут не Элизеуш Сабо, я — сам господь-бог!» Так-то...

Напрасно вы на меня так смотрите, я признаю, что тоже был тогда там, бегал по мосту и, хотя это, конечно, смешно, но мы не смели даже прикоснуться к Элизеушу. Вы спрашиваете — почему? Да ведь он упал с пятиметровой высоты и кричал, что он сам господь-бог! Откуда нам было знать, не говорит ли он правду?

Потом вот, к примеру, еще фигура, этот Боксош. Знаете, тоже штучка... Конечно, я выпью еще немного, спасибо... Я, поверьте, не алкоголик, моей семье не приходилось нищенствовать из-за меня. Хотя... в последнее время можно сказать... но об этом я говорить не буду. Пусть это не станет сплет-

ней, но по правде... Этот Боксош — круглый дурак. За всю жизнь он ничего доброго не сделал. Только пил. Но он был весельчак, и мы частенько пили с ним вместе в кабачке или в магазине. Потом, конечно, приходит время в жизни мужчин, — вы еще молоды и не знаете этого, — когда обнаруживаешь, что «черт возьми, я же ничего еще не сделал». Это начинает сильно мучить человека. И тогда каждый хочет сразу совершить что-то необыкновенное, огромное. Хотя бы однажды. И в последний раз.

С меня-то довольно и того, что я пережил в лесу, убегая от войны, тогда в этом была проблема. А этот Боксош не имел никакого представления о жизни. Но и для него наступил час, когда он подумал, что хватит, что ему надо тоже что-нибудь совершить. Ну, в прошлом году этот Боксош как-то вечером крепенько выпил, потом, ни слова не говоря, вышел из магазина и... как сказать... исчез. Мы-то подумали, что он пошел в уборную. Ну, а потом испугались, потому что вскоре вбежал человек в рабочей одежде и стал кричать, что он не хочет из-за пьяных идиотов завершать свою жизнь в тюрьме. Позже выяснилось, что Боксош, пройдя несколько метров от магазина до шоссе, лег поперек дороги. Перед ним со скрипом затормозил этот огромный грузовик,

шофер выскочил из кабины, как кукушка из стенных часов, и заорал на него. Боксош спокойно лежал, потом приподнял голову и, грустно глядя на водителя, сказал: «Слушай, если переедешь через меня так, чтобы я сразу умер, то я поставлю тебе бутылку!» Мы всегда знали, что Боксош парень с закидонами, но чтобы вот так... Ну, и после этого он имел такой успех, что куда там мне с моим дезертирством. Несколько месяцев только об этом и судачили в магазине.

Извините, пожалуйста, но до нас не доходит, к чему строят эти огромные дома и такие же огромные заводы... При моем отце неплохо работали и у маленьких домен.

Да, проходит время. Черт знает, что еще будет! Я уже и не пытаюсь это понять. Что касается меня, то у меня давно больны почки, и по ночам я тяжело дышу. Все равно мне скоро умирать. Но вы не думайте, что я завидую молодым, потому что им еще предстоит долго жить. Жизнь такова, что приходит и уходит. Разница лишь в том, как и для чего ты жил. Я вижу, какова становится жизнь вокруг меня, но я почему-то остался в стороне от нее. Когда же это произошло? Может быть, тогда, когда я, пусть только на одну минуту, поверил, что и мертвый может ставить бутылки и что Элизеуш Сабо сам господь-бог.

Перевод О. Павловского

Элемер Тот

НОВЫЙ ХОЗЯИН ИСКУССТВА

В Венгрии с 1945 года новый хозяин пришел на завод, новому владельцу принадлежит земля. И в искусстве новый хозяин.

Исчезли былые меценаты. В XIX веке искусство поддерживали аристократия и высшее духовенство, они им управляли, художественные произведения создавались непосредственно по их заказу. В первой половине XIX века преобладали интимные жанры, художники ориентировались на вкус покупателя, стала модной миниатюра. С 1867 года в связи с бурным развитием социально-экономической жизни искусство получает больше самостоятельности, но доступ его к широкой проблеме все еще ограничен.

Новый хозяин приходит — государство, и возникает как явление европейского масштаба так называемое «официальное» искусство. Государство поддерживает новое направление — академизм, формами поддержки являются выставка и жюри.

После освобождения Венгрии в связи с демократизацией культурной жизни стали иными и место, и роль изобразительного искусства в нашей стране. Оно становится все более существенной потребностью в жизни человека. Общение с искусством — уже не привилегия немногих, оно доступно каждому постоянно. Мы не можем быть безразличными к искусству. Современному обществу нужны всесторонне образованные люди, и новые хозяева, от которых зависят условия развития нового искусства, должны вступать в непосредственный контакт с художниками. Нам нужны но-

вые формы поддержки искусства, и одни из них уже найдены в СССР, другие — у нас.

К ним относится, например, система социалистических договоров художников с заводами и учреждениями. Перспективы договорного дела зависят и от самого художника, и от предприятия-заказчика.

В наши дни эти договоры имеют жизненную основу. Созданы социалистические бригады, роль которых не исчерпывается производственными показателями, они — образец новой жизни в работе, учебе и в быту.

Социалистическое соревнование и социалистический договор — способы раскрытия лучших резервов человеческой личности. Цель у них одна: формирование духовного мира сегодняшних хозяев жизни. Успех договоров зависит от того, какое положение занимает художник на предприятии.

Какую же роль играют в воспитании нового хозяина искусства эти договоры? Как в современных условиях жизни индустриального края художники создают очаги культуры? Именно на эти вопросы искал я ответ на заводах Шальготарьяна и в мастерских шальготарьянских художников.

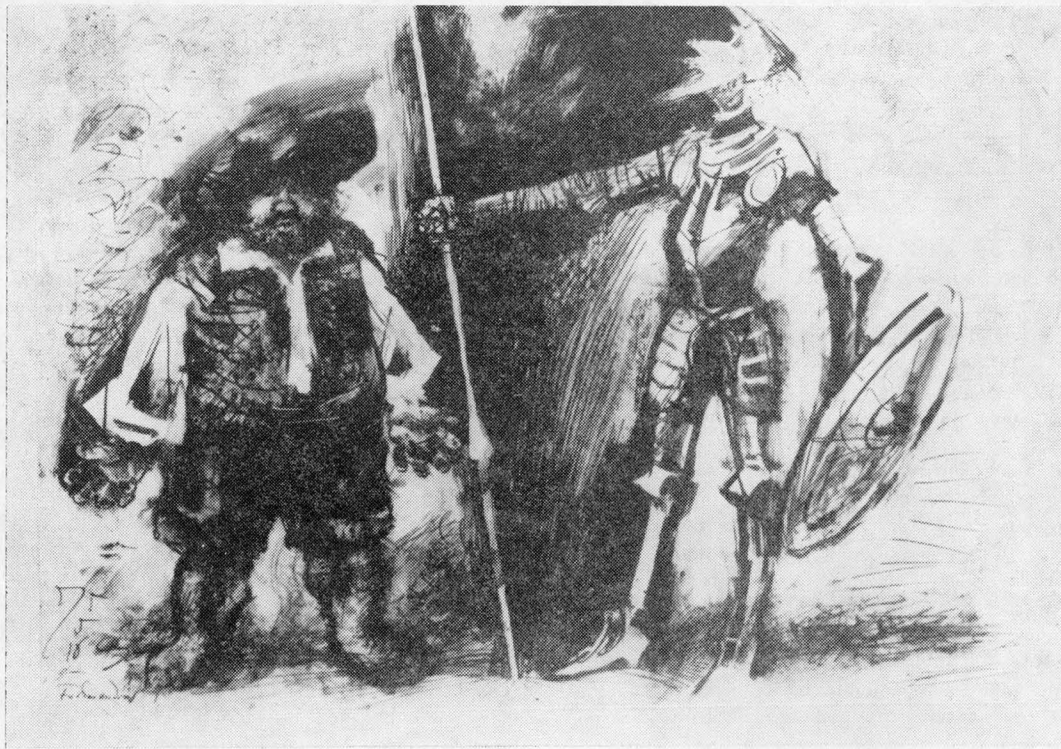
Завод эмали в Шальготарьяне. Десять лет назад с этим заводом заключил социалистический договор Ференц Цинке, график, лауреат премии Мункачи.

Рабочие окружили художника. Здесь, в «мельнице», жарко. «Можно начинать обжиг? — спрашивает художника молодая женщина, указывая на лист эмали. — Очень любо-

пытно, каким он будет после обжига». Тот Миклошне была свидетелем рождения многих эмалевых картин. Альберт Гордош, один из тех, кто стоит на обжиге эмали, говорит: «Художника, который с эмалью работает, я очень

из новой картины. Художника мы теперь считаем своим, он, как любой рабочий, имеет постоянный пропуск».

Ференц Цинке — почетный член бригады имени К. Феоктистова, которая носит звание



Андраш Фаркаш. Иллюстрация к «Дон Кихоту»

уважаю. Эмаль требует опыта. Я с 1949 года работаю здесь, потому знаю, как трудно передать в эмали краски и линии. Каждый обжиг изменяет цвет. У меня и дома висит картина-эмаль. Уж мы-то оценим». Белла Поллок, руководитель отдела, в прошлом технический секретарь: «Я был в те времена секретарем. Рабочие стояли у печи, и мы с художником подошли к ним, я просил их допустить его к работе. Вначале смотрели на него, как на чужака. Теперь уже они друзья, помогают ему во всем и с нетерпением ждут, что же выйдет

«отличной социалистической» и состоит из двадцати человек. Все они технологи, работают над разными технологическими проблемами завода. Иштван Шандор, технолог, начальник бригады: «Мы, техники, далеки от искусства, от сегодняшних художественных направлений. Но нам безразлично, какие произведения искусства окружают нас на улицах и площадях, на работе и дома. Мы хотим понимать и живопись, и скульптуру, и графику. Поэтому летом прошлого года мы решили избрать Ференца Цинке почетным членом

бригады. Он читает нам доклады, знакомит в дружеских беседах с разнообразием стилей в искусстве, с известными мастерами искусства и так далее. Это не бесполезно, ведь любая работа требует эстетического чутья. Производство продукции должно отвечать нормам эстетики. Чувствовать во всем эстетику и пользоваться ею в работе ежедневно — вот чему мы должны научиться. Лишь тогда станет ощутимой польза этого договора».

График Ференц Цинке: «Время сделает содержание договора более глубоким, ведь ценность его обоюдна. Форма договора может быть разной, это зависит от той задачи, которую выполняет художник. Общение художников с публикой на предприятии и вне предприятия определяет их мировоззрение. Мы, художники, теперь в прямом смысле слова — пришли на завод, туда, где изо дня в день решаются важнейшие проблемы, где ежедневно нас окружает прекрасная, трудовая жизнь рабочего класса. Как отражать, как облагораживать искусством эту жизнь с ее добрыми началами, не упрощая ее — вот наша задача. Окружающие нас люди ждут наших произведений. Их доверие обязывает нас. Десять лет назад впервые я пришел на завод, а теперь он стал моей второй мастерской. Рабочие, которые трудятся со мной — мои сотрудники. Надеюсь, что и они вам это скажут, ведь они понимают это».

Рабочий Альберт Гордош приносит прямо из печи дышащий жаром эмалевый лист. Лист охлаждаются, постепенно проявляется цвет картины. Рабочий разглядывает ее внимательно, пристально: «Вот эту огонь делает особенно красивой, — он показывает на красную краску, — но и зеленая очень хороша, она всегда бывает праздничная».

И, действительно, здесь, в «Мельнице», праздник.

Живописец Оедоен Ивани заключил социалистический договор с заводом оконного и автомобильного стекла около двух лет тому назад.

«Разумеется, этот договор дает мне материальную поддержку. Сумма невелика, но на

краски и материалы ее хватает. По-моему, вначале эти договоры в городе напоминали брак поневоле: и завод, и художник не знали, с чего начинать совместную работу. Ко мне, например, далеко не сразу стали обращаться, просили сделать что-нибудь несложное: портрет Илона Зрини для подшефной школы, подарок для иностранной делегации. Сделал часть оформления для заводского клуба. Теперь, познакомившись с технологией эмали, делаю композицию для рабочих кабинетов. Трудно сказать, кто кому больше полезен. Если у меня, как у «художника завода», просят совет, я охотно помогаю. В свою очередь, я тоже получаю от завода все, что прошу: и стекло, и раму, и многое другое. Думаю, сейчас уже не существует проблемы: художник есть, а что с ним делать? И я уже знаю, что деньги получаю не напрасно, в долгу не останусь».

Пожалуй, это так: «сделка» совершена честная. Но есть ли у договора более глубокий смысл?

«Конечно. Самое главное — я работаю там, где делают материалы для моей работы, среди рабочих, в процессе их труда, и мы в перерывах беседуем и о художественных проблемах, и о разных других. Это и есть пропаганда искусства, эстетическое воспитание не на словах, а на деле. Очень люблю рабочих людей, слово у них веское, и глаза у них хорошие. По-моему, этот договор очень важен и с точки зрения взаимоотношений интеллигенции с рабочими, он дает возможность взаимопонимания».

Живописец Янош Мушто заключил договор с ноеградским предприятием строительной промышленности. Вот его мнение:

«Что касается отношений интеллигенции, точнее говоря, художников с рабочими, — мне думается, что непосредственный и практический контакт чрезвычайно полезен и для тех, кто создает искусство, и для тех, для кого оно создается. Мы, художники, согласно договору, становимся теперь «стеклодувами», «столярами», «строителями», в зависимости от профиля предприятия. Дела у нас вроде раз-

ные, но цель одна: воспитание нового хозяина. Хорошо бы общаться еще больше, организовать еще ряд совместных мероприятий, делать больше выставок на заводах и разных предприятиях...»

Что же это конкретно даст рабочим и что художникам?

«Опыта у меня маловато, но я вижу в этих отношениях здоровую нравственную основу. Люди ждут от искусства искреннего слова о своей работе. А художник учится быть единомышленником коллектива и с этой точки зрения анализировать суть человеческих отношений и проблем. Еще добавлю: эту возможность нужно предоставить и молодым художникам, чтобы их произведения имели корни в нашем рабочем краю».

У Яноша Мушто особое положение в связи с особенностью работы предприятия. Строители работают в разных уголках страны, живут в общежитиях. С этими людьми общаться сложнее. Поэтому весной художник открывает небольшую передвижную выставку, и она путешествует из общежития в общежитие. Открытие выставки сопровождается рассказом о творчестве художника.

Договором предусмотрено также создание произведений о жизни и работе строителей, эти произведения займут свое место на стенах общежитий, спортивных и культурных учреждений предприятия...

«Уж если говорить о красках и форме, работа стеклодувов поистине чудесна», — говорит живописец Янош Лорант, лауреат премии Мункачи, который имеет договор с фабрикой стеклянной посуды. «Я родом из деревни, поэтому сама атмосфера фабрики для меня

удивительна. И меня интересует производственный процесс во всей его сложности. Нужно долгое время наблюдать за людьми в работе, если художник хочет быть ближе к ним и если он хочет правильно выразить в своем творчестве сущность человека. Свои картины «Заводская проходная», «Ученики ремесленного училища» я бы без этого не мог написать».

Что особенно связывает Яноша Лоранта с фабрикой? Совместная работа с гравировщиками. Раз в неделю они встречаются, чтобы учиться создавать орнаменты и фигуры, которые гравироваются на стекле. Художник — член социалистической бригады гравировщиков. Гэза Такач, экономист, говорит: «Роль Яноша Лоранта в работе гравировщиков очень велика». Добавим, что в Венгрии гравировка на стекле выполняется только на этой фабрике.

Социалистический договор такого типа в Шальготарьяне имеет фактически каждый художник. У этой формы работы есть перспектива. И фабрики, заводы, предприятия — все охотно пользуются ею.

Об этом говорит опыт Шальготарьяна.

Так почему же рабочие тянутся к «художнику завода»? Такова власть зрелища, искусства, рожденного на глазах. Смотрят люди, люди учатся видеть, и глубже в них сила эмоций, потребность создавать прекрасное в искусстве, в природе, в жизни общества. Эта форма эстетического воспитания отвечает потребностям нового общества. Она, в конечном счете, включает в себе возможности развития активного творчества и этим самым дает нашему народу возможность воспитывать нового хозяина искусства.

Перевод З. Естамоновой.

Афанасий Гуковский

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

В вечерней настороженной тишине лестничной клетки обледенелая роба шуршала сухо, жестко, как ржавое железо на крыше во время бури. Поначалу Костя не обращал внимания, точнее, он просто не слышал этого шороха; весь был во власти раздумий о минувшем, чертовски тяжелом дне, о том, что вот он, Константин Бурыгин, передовой бригадир монтажников, уже сорвал срок сдачи теплотрассы и, понятное дело, завтра и без того придиричивая и строгая приемная комиссия еще безбожнее станет докапываться до каждой мелочи, выматывать душу. А потом свое начальство — из монтажного управления — подключится, потом трест, потом генеральный подрядчик, потом... О, сколько их будет этих самых «потом»!

Костя устало поднялся на площадку третьего этажа, сунул было руку в карман куртки за ключом и тут же отдернул, словно обжегся. И скрежет мерзлой роботы показался ему таким резким, что он невольно остановился: «Медведя в берлоге можно разбудить»...

С досадой подумал: надо было бы переодеться в бытовке, но роба там не высохнет. Зимнего отопления еще нет, а электрообогреватель на ночь полагается отключать. Вот и греми теперь штанами!

Широко расставляя ноги, чтобы штанина не касалась штанины, сделал несколько сторожких шагов к двери своей квартиры, тихонько сунул ключ в замочную скважину, плавно налег плечом на дверь, чтобы — избави бог — она не скрипнула.

Время позднее, и Костя полагал, что жена уже спит и, слава богу, все обойдется без лишних там ахов и охов, без долгих и нудных: да как же это?.. да почему это?.. Но едва переступил порог, чуть было не столкнулся со своей Катюшей и замер, виновато хлопая глазами.

Жена стояла с вытянутыми руками, готовясь, видать, сама открыть ему дверь, да опоздала малость. Попятилась в испуге, всплеснула ладонями:

— Боже мой! На кого ты похож! Тебя что, в реке полоскали или воду на тебе возили?

Закрывая за собой дверь, Костя с горечью подумал: «Это только пролог...» А вслух невнятно пробормотал:

— Насос, будь он неладен, плевался всю дорогу, как верблюд.

— Значит, опять не сдали?

— Как видишь...

Холода еще не подступили всерьез. Осень будто по-человечески сочувствовала монтажникам. Вон уже потем-

нели сосны и ели в бору за Томью, хвоя их налилась оливковой дремотной тяжестью. Величественные и важные, стоят они в осенней прозрачности.

А дни еще сухие и солнечные. Правда, случалось, проникали в наши края, как объясняют синоптики, арктические течения, налетали ветры, закручивало так, что хоть в зимнюю одежду забирайся. Но потом снова отпускало.

Монтажники торопились изо всех сил. Торопились, чтобы до наступления холодов — а они были не за горами — закончить монтаж магистральной головной теплотрассы. Пусковой объект! Да не только это беспокоило, подстегивало монтажников...

В строящемся крупном жилом квартале дома улыбались уже свежей краской, радужным блеском чистых стекол в окнах. И внутренняя отделка завидная: «Добро пожаловать, новоселы!»

Счастливики нетерпеливо мяли в карманах ордера на новые квартиры; подолгу стояли на краю траншеи, казалось, без особого любопытства смотрели, как продвигаются дела. Молча, со скучными физиономиями убирались восвояси. И еще отчаянней работали парни.

— Вон опять притопа! тот!.. — Пан Зюзя — так в шутку называли белобрысого пожилого электросварщика — со злостью вставив в держатель новый электрод, заслонил лицо щитком.

Над трехметровым обрывом траншеи выросла высокая, прямая фигура пожилого мужчины в черном демисезонном пальто. Воротник, как всегда, поднят, седая шевелюра спутана ветром. Он здесь частый гость. И не в пример другим посетителям непременно бросит какую-нибудь подковырку, вроде: «Копошимся, роба-спец?..» или «Лето красное пропела, роба-спец?..» Грамотный, видать, ничего не скажешь...

Вот он, вытянув шею, слегка отто-

пырив локти, смотрит вниз, будто намеревается прыгнуть в траншею и вопрощает:

— Как дела, роба-спец?..

По дну траншеи торопливо идет бригадир монтажников, поднял голову, споткнулся обо что-то, мысленно чертыхнулся: «Принесла же тебя нелегкая со своей робой-спец!..»

Бурыгин, разумеется, далек от суеверных предрассудков. Однако... Сегодня уже второй и последний срок сдачи теплотрассы. Правда, в первый не уложились не по вине его бригады. Но ему, Константину Бурыгину, от этого нисколько не легче. Объект — серьезней некуда! Как-то оно все обойдется?

Утром, чтобы даром не терять ни одной минуты, Костя провел раскомандировку прямо в автобусе. До места работы почти час езды, времени — хоть отбавляй.

Сегодня, будто нарочно, сел он на самое заднее сиденье. Тряско? Пускай. Зато вся бригада как на ладони.

— А теперь послушайте, что я скажу, — начал он вдруг и так громко, что все враз умолкли, повернули головы к бригадиру. — Сальков со своим звеном слесарей, — продолжал Костя уже обычным голосом, — собирает «нитку» водопроводных труб и подтягивает к ближайшему колодцу водозабора. — Короткая пауза. — Титов, ты запустишь сварочный агрегат, который получше налажен, и от него «прикуришь» второй. Электросварщики добивают последние стыки труб. — Опять помолчал, будто подливая металл в свой голос, строго предупредил: — Да глядите у меня! Не щипайте!! И не забудьте потом приладить заглушки.

Мотористам бригадир наказал, чтобы насос и компрессор работали как часы, сделал указания по некоторым мелким деталям, улыбнулся, окинул взглядом притихших товарищей.

— Надеюсь, до каждого дошло?..

— Куда уж проще: тят-ляп и в дамки, — хихикнула Нинка Злобина.

Реплика Злобиной прозвучала как гром среди ясного неба. И стало тихо-тихо. Будто перед грозой. Все уставились на электросварщицу, смотрели с настороженным удивлением и любопытством. Если бы не в такой ответственный день и сказал это кто-нибудь другой, возможно, никто и не обратил бы внимания, или посмеялись бы над остряком, и делу конец. А тут — Нинка Злобина!..

В бригаде она второй месяц, и за это время, пожалуй, больше десятка реплик и не слышали от нее. И всякий раз вот так же: молчит, молчит, а потом влепит, как припечатает. Ну и юмористка!

Сальков, хлопнув ладонью по плечу впереди сидящего соседа, прожужжал скороговоркой:

— Вот дает наш Неприкосновенный Запас!

А Пан Зюзя от гнева даже привстал. — Кликуш нам еще не хватало! — обрушился он на Злобину. — Работаешь тут без году неделя, а туда же! Вот сделают лаборанты просвечивание твоих сварочных художеств, тогда и поглядим...

У Нинки округлились глаза, беззвучно зашевелились губы, видать, хотела она что-то ответить своему обидчику, но не сразу нашлась. А возможно, постеснялась. Все-таки Григорий Тимофеевич намного старше ее. Краснея, опустила она глаза, шмыгнула носом.

На ответственных работах, особенно при сварке труб под высокое давление, каждый электросварщик ставит около шва свое клеймо. Нинка Злобина клеймит свою работу первыми буквами имени и фамилии «НЗ». И нигде раньше не величали Нинку Злобину «Неприкосновенный Запас», а в этой бригаде почти с первых дней перекрестили девушку. Но на это не обижалась Нинка. Тут почти всех на-

граждают прозвищами. А вот почему взъелся на нее этот Пан Зюзя, никак не может она понять.

Бригадники повернули головы к Косте Бурыгину: как, мол, тебе это нравится?..

Костя отвернулся к окну, сделал вид, что ничего не слышал. Хотя реплика Злобиной, словно тупой ножовкой, царапнула по сердцу. Бригадир понимал, что электросварщица права: во всякой работе тят-ляп — всегда выходит боком. Но разве он, Бурыгин, хоть словом обмолвился, настраивал монтажников на это? Откуда она взяла?..

За неумную дерзость следовало бы одернуть девушку, как следует. Она и так успела уже немало попортить крови всем. Но спорить с Нинкой Злобиной Бурыгину не хотелось. Только взвинтишь нервы и себе, и ребятам. А сегодня, как никогда раньше, все должны быть в форме.

И другое удерживало Костю Бурыгина. С появлением Нинки Злобиной бригада вроде бы обновилась: дружнее и как бы чище стала, что ли? В бытовке всегда порядочек. Да и работа пошла куда с добром. Не нужно теперь понукать.

И червячок ревностного самолюбия нет-нет и подтачивал где-то в глубине души бригадира. Костя никак не может понять, чем Нинка Злобина так повлияла на монтажников? Внешностью она явно не вышла, годами старше многих парней и, ясное дело, покорить никого не может. Держится обособленно, замкнуто. В перебранку вступает только по работе. Но тут Злобина настырная. А вот поди ж ты! И как это ей удастся?..

В машине уже галдели — кто во что горазд. А Костя Бурыгин смотрел в окно, думал о своем.

Чтобы в срок закончить теплотрассу, попросил Бурыгин в управлении еще одного электросварщика. Опыт-

ного, не ниже шестого разряда. С таким высоким разрядом в управлении были только мужчины, и Костя заранее прикидывал в уме, кого могут прислать... Он знал их всех.

Как-то утром, во время раскомандировки, вошла в бытовку девушка, одетая в спортивный костюм, махонькая, шуплая — ни дать ни взять семиклассница. И только веер морщинок вокруг больших серых глаз да чуть заметные складки у широкого, тонкого рта подсказывали, что крошка эта вышла уже из школьного возраста. Под мышкой держала она свернутую, тую перевязанную шнурком робу.

Монтажники притихли, с озорным любопытством то переглядывались между собой, то украдкой поглядывали на бригадира.

Не сразу, видать, дошло до сознания Бурыгина, что эта крошка и есть то пополнение, которого так настоятельно добивался он в управлении. Склонив голову набок, Костя великодушно ухмыльнулся: что, мол, заблудилась, голубушка?..

Спокойным взглядом больших серых глаз — собственно, это и все, чем была она богата, — окинула гостя замусоренное неуютное помещение бытовки, прошла по лицам монтажников, брезгливо поморщилась.

— Накадили-то! Как в захудалой пивной.

Титов зачем-то потрогал пальцами кончик своего длинного горбатого носа, Тюрючок застегнул верхнюю пуговицу спецовки, бросив под ноги недокурную сигарету «Прима». Пан Зюзя с досадой растер ее каблуком.

Тем временем девушка приблизилась к столу, держа под мышкой левой руки сверток робы, правой достала из кармана курточки многократно свернутую бумажку.

— Кто тут из вас Бурыгин? — и опять пробежала взглядом по лицам монтажников.

Костя даже опешил, встал: «Неужто пополнение» — о том, что работала она в управлении, Бурыгин не знал. — Новенькая? И сразу на такую работу?..»

Небрежно выхватил из руки девушки бумажку, нервными пальцами развернул, пробежал глазами: «Направляю электросварщицу 5-го разряда Н. В. Злобину. И прошу, без фокусов там!..» Подпись главного инженера управления.

— Без фокусов, значит?!

— Что вы сказали? — не поняла девушка.

— Злобина, говорю, фамилия твоя?

— Злобина, — серьезно подтвердила девушка.

— Электросварщица пятого разряда? Не густо, как я погляжу.

— Если будете так великодушны, попросите, чтобы мне подкинули разрядик повыше, — шуткой отделалась Нинка Злобина.

— Ишь чего захотела! — огрызнулся Пан Зюзя.

Такая наглость девушки не на шутку задела его профессиональное самолюбие. Он зубы съел на этом деле, и у него только шестой разряд. А тут пигалица какая-то...

— Штанишки больно того... узковаты! — он поднялся, шумно топая, вышел.

Небольшим коридорчиком бытовка разделена на две половины: в одной половине служебное помещение, в другой — инструментальный склад. В коридорчике на кирпичном фундаменте установлен электрообогреватель — «козел». В обеденный перерыв просушивали тут робу, рукавицы, верхонки, портянки.

Утром и после смены переодевалась Нинка Злобина в инструменталке. А если не ходила в столовую, то и обеденный перерыв коротала там. Очистила уголок, какой-то ящик приспособила вместо стола, накрыв его белой тряпичей. Рядом — табуретка. Стены

обила газетами, наколотила гвоздей—вешалка для чистой одежды и полотенца. Пообедает, возьмет в руки книгу, читает. Тихо и довольно уютно в уголке Нинки Злобиной.

В служебной половине шум и гам до потолка и дым коромыслом. Наспех расправившись с содержимым своих «тормозков», монтажники плотненько усаживались вокруг стола, азартно резались в «козла» и дымили папиросами напропалую. Первое время они просто забывали о существовании женщины в бригаде.

Но Нинка Злобина напоминала о себе. Нет, она не врывалась сломя голову в мужскую половину, не шумела, вызывая к благоразумию; минута в минуту, когда кончается обеденный перерыв, Злобина откладывала книгу, уходила на трассу и начинала работу.

Чего там греха таить, бригадир тоже заядлый доминошник. И если партия подходила к концу, Костя только бгровел и еще отчаяннее лупил по столу костяшками домино. «Подумаешь, пять минут раньше, пять минут позже?.. Поменьше перекуров, и на-верстаем».

И первые дни монтажники делали вид, что не замечали аккуратности в работе Злобиной. Потом стали пускать в ее адрес всякие нелестные остроты: «Махонькая, а на деньги, видать, жадная». Или: «Работа дураков любит...»

Бригадир обычно приходил на работу раньше всех. А в этот день еще издали увидел, что дверь бытовки распахнута настежь. Подойдя, заглянул в дверь и был приятно удивлен. Полы вымыты до блеска. Костя уж было и запямятовал, какого цвета краска на полах. В коридорчике снял сапоги, прошел в свою половину. Роба развешана, аккуратно сложены бумаги в шкафу, воздух свежий, по-домашнему уютно: «Сразу чувствуется женская рука...»

И так приятно стало на душе Косте Бурыгину.

Подошел он к двери инструменталки, осторожно постучал. Бурыгину хотелось от души поблагодарить девушку. После короткой паузы Нинка Злобина резко бросила: «Нельзя!» Костя ушел к себе, подумав: «Переодевается, должно быть».

Когда же подходили монтажники, бригадир выходил в коридор, молча тыкал пальцем на их запыленные сапоги, велел разуваться.

В обеденный перерыв, как и всегда, забивали монтажники «козла». Но когда Нинка Злобина в урочное время вышла из бытовки и направилась на трассу, бригадир вскочил. Спутав костяшки домино, скомандовал:

— Кончай базар!

После работы Пан Зюзя с мотком электрокабеля на плече открыл дверь инструменталки и тут же резко захлопнул, негромко чертыхнулся.

— Ты чего, сизый голубочек? — с усмешкой спросил Титов.

— Э-э! — морщась, Пан Зюзя махнул рукой. — Наш «НЗ» там, это самое... переодевается.

Сашок озорно кивнул:

— На то он и есть Неприкосновенный Запас, чтобы всякие там... не разевали рты на чужой каравай.

Все дружно заржали.

Так и пристала к Нинке Злобиной эта кличка: «Неприкосновенный Запас»...

А на следующий день в бытовке все было по-старому: не убрано, полы грязные. Как ни аккуратно вели себя монтажники вчера, а наследили изрядно. Не будешь же каждый раз снимать сапоги. На краешке стола клочок газеты оставил кто-то с недоеденным обедом, под столом — окурки. Что и говорить, рабочее помещение — не Дворец культуры.

Бригадир сидел за столом, быстро писал что-то, недовольно посапывал.

Подходили монтажники. Постояв в коридорчике и заметив, что «бугор» сидит обутым, смело проходили в помещение.

Пан Зюзя огляделся, недвусмысленно заметил:

— Что-то задерживается сегодня наш Неприкосновенный.

Бурыгин поднял глаза, кивнул на инструменталку:

— Там она...

Во время раскомандировки Нинка Злобина сидела в дальнем углу, помалкивала. И только в конце решилась, наконец:

— Нужно составить график дежурства. Дежурный обязан приходить пораньше, убирать в помещении и каждый день мыть полы. Я же не уборщица вам, если на то пошло.

— Что-о! — взъерошился Пан Зюзя. — Засвои сорок пять лет я дома ни разу не мыл полов, а тут буду гнуть спину. Ишь, чего придумала!

— Послужил бы на флоте, сизый голубочек, — хохотнул Титов. — Там бы тебе расправили спинку.

— То-то она у тебя прямая, спина-то. Что коромысло, — съехидничал Пан Зюзя.

Титов вскочил, вытянулся в струнку.

— А что? Если хочешь, я — будь здоров! — и еще пуще заржал.

— Меня еще не научила мамка этому ремеслу, — Сашок совсем стушевался.

— А у нас в гепетеушке на промышленную ногу было поставлено самообслуживание, — затараторил Тюрючок. — Закатаешь штанишки, тряпку возьмешь и — только брызги летят.

Долго спорили монтажники, а бригадир помалкивал. Поочередные дежурства в бытовке для Бурыгина не новинка. Но чтобы заставлять мужиков ежедневно мыть полы, такое не приходило ему в голову.

И все-таки предложение Нинки Злобиной было принято. Настырная!..

Однажды электросварщица подозвала бригадира, пальцем ткнула на стоканованные трубы:

— Поглядите, куда это годится?

— Н-да, зазор маловат, — согласился Бурыгин. — Но варить можно.

— А я не буду варить! — категорически заявила электросварщица. — Пусть переделают.

Спорить с Нинкой Злобиной бесполезно. Бурыгин окликнул Салькова, звеньевого слесарей.

— У вас что, свободного времени много, чтобы по несколько раз переделывать одну и ту же работу? — напустился бригадир на Салькова. — Погляди!

Сальков посмотрел на трубы, на бригадира и уже злыми глазами уставился на Злобину.

— Вчера ты говорила, что зазор очень широкий, а сегодня — узкий. Тебе сам черт не угодит!

— А зачем мне угрожать? — улыбнулась Нинка Злобина. — Делайте, как положено, по ГОСТу.

Но самому бригадиру доставалось от Нинки Злобиной больше всех. Из-за электродов, в основном, и разгорался всегда сыр-бор.

— Мудришь ты, голубушка! — сорвался однажды Костя Бурыгин. — Вон Григорий Тимофеевич варит же электродами всяких марок и получается у него куда с добром. Тебе еще поучиться надо.

— Так у него же, Григория Тимофеевича, шестой разряд, — хихикнула Нинка Злобина, — а у меня только пятый.

У Бурыгина аж скулы свело от такой дерзости электросварщицы: «Ну и язва же!..» — махнул он рукой и торопливо ушел.

...Выделили как-то бригаде небольшую премию. За прошлый месяц пре-

После работы собрались все в бытовке, судили-рядили, как поступить с этими деньгами. Делить на каждого бригадника вроде и нечего. По нескольку рублей на нос приходится.

— А давайте-ка под выходной банкет знатный сообразим вечером, — предложил Титов.

— Вот это дело! — Пан Зюзя аж языком прищелкнул от удовольствия. — Лучше, поди, и не придумаешь.

— Я предлагаю купить транзисторный приемник «Вега» или еще какой там, — вставил Тюрючок. — Последние известия будем слушать, музыку...

— Еще чего? — окрысился Пан Зюзя. — Ты, паря, и без музыки прожужжал уши всем.

Бригадники дружно засмеялись. Не в бровь, а прямо в глаз угодил.

Нинке Злобиной ничего не причиталось из этой премии. В то время не работала она в бригаде. Она сидела в своем уголке как неприкаянная, по-малкивала.

Но когда зашел разговор о банкете, тут Нинка Злобина не сдержалась:

— Давайте лучше купим библиотечку, а? — предложила Нинка.

Все разом смолкли, повернулись к электросварщице, будто сейчас только заметили ее присутствие.

— Хотя и небольшие деньги, а книг, знаете, сколько можно купить?.. — голос Нинки Злобиной крепчал. — Чем забивать вашего дурацкого «козла», лучше бы почитали хорошую книжку.

— И правда! — подхватил Тюрючок. — Я вот слесарь, а хочу еще и профессию электросварщика освоить. И технических книжек купим, а Нинка поможет мне.

Поднялся Пан Зюзя, не спеша подошел к девушке, наклонив голову, уставился белесыми злыми глазами:

— Тебя-то, золотце, кто просил совать нос не в свое дело? Ты заработала эти денежки?..

— А что, Нинка права! — подхватил Сашок.

Бригадир покачал головой, улыбнулся:

— Да, Григорий Тимофеевич, уже если молодежь навалилась, наша с тобой не пляшет...

Как никогда, сегодня монтажники сосредоточены, молчаливы. Ни лишнего шага, ни пустой реплики. Поднимет Пан Зюзя свое забрало, электрод заменит, на лаборантов покосится, на машину-лабораторию и снова нос под щиток, и опять брызжет голубоватыми искрами электросварки. Непокойно у него на душе.

Лаборанты — гроза электросварщиков, — топают, что называется, по пятам, делают рентгеновские снимки швов. Правда, не каждый шов просвечивают они, а выборочно... Но... Если бы знал, где упадешь... А в машине-лаборатории их коллеги колдуют над снимками, проявляют рентгеновскую пленку. Пан Зюзя уже знает: вот эти колдуны со своим адским глазом сквозь железо видят все, малейшую раковинку заметят — и тогда...

Был за Паном Зюзей грешок. Правда, давно это было, не на этой тепло-трассе. Два выходных дня и, считай, две ночи «пылил» он на свадьбе у соседа. В понедельник вышел на работу с глубокого похмелья. Голова что котел с прокисшей баландой. И допустил тогда Пан Зюзя брачок. Чуть было не турнули из бригады. Лучше и не вспоминать.

Теперь вроде и нет причины для тревоги, а вот же нет-нет да екнет под ложечкой у Пана Зюзи, защемит сердце. А все из-за язвы — Нинки Злобиной.

До прихода Нинки в бригаду покойненько варил Пан Зюзя пять швов за смену и в ус не дул. Конечно же, мог он и больше делать, но, как гово-

рится, поспешишь — людей насмешишь. Он, Григорий Тимофеевич, человек себе на уме. И не придерешься к нему. Трубы-то вон какие мощные, а работа — гляди в оба!

Поначалу Нинка Злобина варила только три шва, потом четыре. Постепенно раскочегарилась и — гляди-ка! — тоже стала делать пять. «Э-э, нет, крошка!» — взъярился в душе Пан Зюзя. Разве мог допустить он, чтобы какая-то пигалица да еще с пятым разрядом наступала ему, матерому волку, на мозоли? И без особого усилия стал варить он шесть швов. Долго упиралась Нинка Злобина, сто потов сходило с нее, сравнилась со своим старшим коллегой.

Теперь Пан Зюзя даже курить реже стал и в обеденный перерыв ни минуты больше положенного не просидит. Он делает семь швов. «Попробуй-ка, пигалица, дотянись!» — криво ухмыльнулся Пан Зюзя и посмотрел в ту сторону, где работала Нинка Злобина.

Она варила «потолок»: нырнула под трубу, как в омут, только кирзовые сапоги подросткового размера торчали, поблескивая отполированными подошвами. «Лапти сушит!» — хохотнул Пан Зюзя. — Поглядим, что скажут, как оценят твой талант вон те колдуны...»

И как ни храбрился Пан Зюзя, а прежнего душевного равновесия не чувствовал, успокоение не приходило. Отчего бы это?.. И он еще азартнее принялся за дело.

Еще полчаса, еще час... И затараторит движок мощного насоса: долго будет глухо шуметь, булькать вода в утробе мощных труб, пока, наконец, не вздрогнет стрелка манометра, не поползет медленно вверх, к штриху с цифрой двадцать... Двадцать атмосфер! Высокое давление.

В это время невольно поднимается давление и у электросварщиков. В холодном поту забéгают они взад-впе-

ред вдоль труб теплотрассы, тревожными глазами будут впиваться в свои «художества»: не пропускает ли шов, не просачивается ли водичка?.. Потом два-три часа выдержки и... пожалте, дорогая приемная комиссия!..

Однако быстро сказка сказывается...

Наконец все в ажуре. Комар носа не подточит. Монтажники застыли у насоса широким кругом, молчат, как перед началом важных торжеств.

— Запускай, Сашок! — едва сдерживая волнение, как можно бодрее и, может быть, несколько громче, чем это требовалось, крикнул бригадир, резанул воздух ребром ладони.

Будто лишку глотнув горячей смеси, движок раз-другой натужно и сердито выдохнул охалки черного, едкого дыма, задундел ровно, четко. Приглушенный стенками труб бодрящий шумок, картавое бормотание воды оживило, вселило уверенность в монтажников. Сашок, смуглолицый весельчак и озорник, распрямился, выплюнул давно потухший и уже прилипший к его полным обветренным губам окуроч сигареты, задиристо крикнул:

— Понеслась душа в рай! Айда, пошел, пошел!..

Испытание трубопроводов теплотрассы под высоким давлением — торжественный и в то же время самый ответственный момент, ради которого, казалось, только и трудилась бригада несколько трудных месяцев. Сдать в срок такой объект, списать в «архив» столько неурядиц, невзгод и, чего там греха таить, целое море нервотрепки — есть чему радоваться! И для тревожных были причины. Случалось, в самый решающий момент объявится такая каверза, что волосы дыбом встанут...

Так вот получилось и на этот раз. Еще не погас светлый огонек в глазах монтажников от доброго начала испытания, а насос, будто издеваясь, хватил полные «легкие» воздуха, фыркнул, как

кот, зачихал сухо, резко. Будто, вырвавшись на волю, пошел вразнос холостой мотор, содрогаясь всем корпусом.

— Во-оды нет, — чуть слышно произнес Сашок. Облизнул пересохшие губы, словно от жажды. Уставился на звеньевого слесарей.

Салькова как ветром сдуло: футбольным мячом покатился вдоль водопроводных труб.

Монтажники провожали Салькова недобрим осуждающим взглядом. Кто-то бросил укоризненно:

— Тюрючок негодный! Куда смотрел?..

Сальков не вышел ростом. Маленькая и удивительно круглая голова, черные курчавые волосы венчиком торчат из-под коричневого берета. В движениях юркий, словами сыплет, как горохом. Кто-то в шутку бросил однажды: «Жужжит, как тюрючок...» Так вот и приклеилась к нему эта кличка: «Тюрючок». И он не обижается.

Вот он повернул обратно, несется во все лопатки, даже под ноги не глядит. Остановился на приличном расстоянии, переведя дух, выпалил:

— В колодце ни капли воды! — и смотрит на бригадира глазами-сморозинками, будто хочет сказать: «А куда же ты, бугор, глядел?..»

На разгоряченном лице бригадира даже белые пятна выступили:

— Как это — нет воды? Не может быть!

Медленным виноватым взглядом обводит круг притихших монтажников. А те поджимают губы, отводят глаза.

— Я самочию проверял. Была вода! — сорвавшимся голосом кричит Костя.

Но монтажники молчат. И Костя не может понять: верят ему или нет. Уже тише, просительно повторяет:

— Честно говорю, вода была...

Как выяснилось потом, где-то слу-

чилась авария, воду перекрыли у другого колодца, а тут осталась ее самая малость. На один «глоток»...

Стоят монтажники плотным кругом у бездыханного насоса. Подавленные и растерянные молчат, как над покойником. То там, то тут взвывается облачко табачного дыма, рассеется над фуражками, беретами и ушанками.

Чуть слышно доносится протяжный, монотонный шум не то падающей с крутых порогов воды, не то проходящего вдалеке скорого поезда. Но этого шума не слышат монтажники. У каждого из них свои думы:

Опять задержка... Сколько можно?..

А шум нарастал, приближался.

Титов вдруг насторожился, ушанку снял, поводит своим длинным горбатым носом из стороны в сторону, будто принохиваясь к чему-то.

— Слышите?! Тайга стонет!..

И все вдруг повернулись к Титову, смотрели на него, как на чудака: при чем тут тайга?.. И как это она может стонать?..

А Титов, ткнув своим длинным указательным пальцем в небо, сказал уже тише, предостерегающе:

— Недоброе предвещает...

— Не каркай, как старая ворона, — грубо одернул бригадир. Натянул фуражку до самых глаз, посмотрел вверх, и острый кадык его судорожно дернулся, будто в горле застрял комок. «Да-а! Титов, пожалуй, прав...»

Небо стало низким, тревожно-серым. С севера быстро надвигались клочковатые седые облака. Помрачнело вокруг, похолодало.

— Не тужи, ребята, пронесет... — сказал Тюрючок ободряюще.

Рядом, на высоком отвале земли, волчком завертелась пыль, обрывки бумаги, сухие листья. Вихрь спрыгнул с отвала, ворвался в круг монтажников, хлестнул каждому в лицо солидную порцию пыли и растворился.

Но это был только разведчик. Вско-

ре налетел свирепый холодный ветер, закружился бесом, завыл на разные голоса, поднимая тучи пыли.

Монтажники смешались. Кто натягивал свой картуз на уши, кто заслонял ладонью лицо, поворачиваясь спиной к ветру. Титов — он самый высокий, ему доставалось больше других — плевался, чертыхаясь:

— Опять это самое... Как там его?.. Арктическое, что ли? Кол ему в паченку!

Бригадир давал указания, размахивая руками:

— Всем на водопровод! Собрать все трубы, а не хватит — хоть из-под земли достать! Протянуть к следующему колодцу и подключиться. Сашок, чего копаешься! Живо!

Было уже время обеда, но никто не заикнулся об этом. Нужна вода!..

Ветер поутих, умерил свой азарт, но зато резко похолодало, полетели белые мухи. Первые цветики зимы.

Зажав между колен накидной ключ, Пан Зюзя снял верхонки, потер ладонями уши, нахлобучил берет.

— Да-ает колотун!.. — Рукавом жесткой куртки шаркнул под носом и снова за дело...

Наконец все готово. Вытянувшись в цепочку, всей бригадой пошли вдоль «нитки» водопроводных труб. Нигде ни сучка, ни задоринки. У насоса стали плечом к плечу. Холод — не тетка. Но, как говорится, беда не ходит в одиночку...

Чем выше поднималась стрелка манометра, чем выше создавалось давление в трубах теплотрассы, тем чаще стал захлебываться насос. То соляниковая набивка сдаст — и вода фонтаном хлещет в щели, то еще какая-нибудь каверза. Высокое давление!..

Внимание монтажников приковано к стрелке манометра: нервы каждого — на пределе. Никто не решается даже закурить. Вот она, стрелка, дрожа поравнялась с цифрой десять.

И вдруг движок фыркнул и замер, шипя парами горячей смеси. Сашок наклонился к нему, как врач к больному, и тут же беспомощно развел руками:

— Свеча... лоп-нула... — у паренька аж слезы выступили.

Мороз тем временем закручивал. Промокшая роба покрывалась ледяной коркой.

И снова закапризничал насос, опять не стала поступать вода...

На высоких местах перехватило, перемерзли тонкие водопроводные трубы. Побежал туда бензорезчик со своей «зажигалкой», отогревает струей пламени.

— Всем свободным от дел сладить факелы и греть трубы, — распорядился бригадир.

Замелькали огни — целое факельное шествие. Дым, запах солярки...

И только электросварщики ошалело носились вдоль теплотрассы, каждый отыскивал свое «клеймо», голыми руками ощупывал шов сварки со всех сторон трубы, прильнув ухом, вслушивался.

Свернув за угол траншеи, Нинка Злобина остановилась вдруг как вкопанная — все в ней похолодело: «Неужели моя работа?..»

Тоненькая струйка воды с комариным писком поднималась на несколько метров, рассыпалась султанчиком, пыля мелкими брызгами и отливая неяркими цветами радуги. Холодные трубы покрывались серебристой коркой льда, темнела увлажненная земля вокруг.

С замиранием сердца подошла Нинка Злобина ближе. Силуэт клейма, почти рядом с которым был фонтанчик, покрылся коркой льда, еле вырисовывался. Приложила девушка горячую ладонь к трубе, чуток погрела, затем пошоркала. И когда отняла она руку, четко обозначилось: «ТГ». Григорий Тимофеевич...

Услышав за спиной тяжелое, нервное сопение, электросварщица оглянулась, зябко передернула плечами, отступила. Пан Зюзя стоял чернее тучи. Обмякший, сутулый, безжизненно висели его длинные руки.

— Надо же сообщить бригадире, — спохватилась Нинка Злобина. — А то будут они зазря упираться там.

— Что-о? — не отрывая ног от земли, будто гусеничный трактор, повернулся Пан Зюзя к электросварщице. — Само собой затянется.

— А если еще больше рассосет, тогда?..

— Слуш-шай! — руки Пана Зюзи медленно сгибались в локтях, будто поднимал он тяжелый груз, угрожающе стискивал кулаки. — Шла бы ты... подальше!

Нинка Злобина ускорила шаги, но все время слышала, что Пан Зюзя топает почти шаг в шаг, не отстаёт. «Как же быть-то? Сказать бригадире или умолчать?..» Она боялась: Пан Зюзя, видать, на все способен...

— Дошла, глядите! — радостно крикнул Сашок, тыча пальцем на стрелку манометра. Хотя и без него видели это.

Костя снял фуражку, внутренней стороной ее вытер мокрое лицо, улыбнулся:

— Вот, что и требовалось...

Пан Зюзя стоит поодаль, набычившись, тяжело посапывает. Нинка Злобина отошла от него на приличное расстояние — на всякий случай, — гневно выкрикнула:

— Что же вы, Григорий Тимофеевич, молчите? Это же нечестно!

Все разом стихли, насторожились, повеселевшие было лица мрачнели, вытягивались, словно ждали какой-то беды.

— Что базлаешь, полоротая! Сказано — затянется! И не суй свой нос, а то...

После короткого замешательства неторопливыми, пружинящими шагами

подошел Костя к электросварщику, выпятив округлый подбородок, уставился на него немигающими глазами:

— Как это затянется? Что затянется? Где?..

Казалось, вцепит сейчас бригадир увесистую оплеуху электросварщику и пискнуть не даст.

Пан Зюзя даже отступил малость, робея.

— Там и делов-то. Будто иголкой проткнули, — лепетал Пан Зюзя. — Вот я и говорю, может, и затянется само собой...

Бурыгин оттолкнул электросварщика с дороги, зашагал вдоль тепло-трассы. За ним, едва попевая, устремилась вся бригада.

— Иголкой, говоришь? — бригадир поставил ладонь на пути фонтанчика так, что брызги полетели на электросварщика. — Считаю, ты у нас в бригаде не работал. Так и скажи начальнику управления. Ступай!

И уже к монтажникам:

— Спустите воду на половину труб. А ты, — повернулся Костя к Нинке Злобиной, — вскроешь шов сантиметров на двадцать, а затем снова заделаешь, чтоб и комар носа не подточил. Все!

— Вот и пригодился Неприкосновенный Запас, — сострил Тюрючок. — Законно!

— Чего это ради? — заартачилась вдруг Нинка Злобина. — Григорий Тимофеевич напортал, пускай и замаливает свои грехи.

Костя Бурыгин понял, что погорячился, что девушка в общем-то права. А спорить с нею, что плевать против ветра. Повернулся к Пану Зюзе, несколько примирительно сказал:

— В общем, сделаешь, как положено, другой разговор будет. Вот так!

...И снова отогревали водопроводные трубы, и опять пурхались с проклятым насосом до умопомрачения. А когда все было готово, посмотрел Бу-

рыгин вокруг, чертыхнулся в душе. Только теперь заметил он, что уже смеркается и, разумеется, ни о каком там приглашении приемной комиссии не может быть и речи.

Поскучневшие и примолкшие мон-тажники ждали, что скажет бригадир. А он молчал.

В круг вступил вездесущий, никогда не унывающий Тюрючок. Поднял руку, будто призывая к порядку шумную публику, хотя и без того была тишина, будто собрался он сказать пространный речь, сообщить нечто важное. А всего-то и сказал:

— Утро вечера мудренее!.. Шабаш, братва!

После горячей успокоительной ванны, после принятой за ужином порции «снотворного» Костя лег в чистую прохладную постель, надеясь тотчас уснуть. Поначалу уверял себя: сделано все «по уму», давление в трубах высокое и удержалось в норме — из-за этого проторчали у манометра лишних полтора часа, — и теперь со спокойной совестью можно отоспаться. Ну, задержались на день. Не слопают, поди, за это.

Костя пытался заснуть. Однако не тут-то было, сон не шел. Старался ни о чем не думать, плотнее стискивал веки глаз — не помогало. Принимался считать: раз, два, три... сорок пять... сорок... но посторонние тревожные мысли вплетались в ряды счета, будоражили его.

Пока Катюша укладывала синишку, он незаметно дважды проскальзывал на кухню, смотрел на термометр, прикрепленный к раме окна с уличной стороны. Первый раз было три градуса ниже нуля, потом уже приблизилось к четырем. Резко похолодало.

«А что будет к утру?..» — и неприятный холодок пробежал по телу. Костя лежал не шевелясь, дышать старался

ровно, спокойно, чтобы не выдать своей тревоги, чтобы не беспокоить Катюшу. Она тоже намаялась за день до чертиков. Девчата в ее бригаде — не суй пальцы в рот... Время шло, а сна ни в каком глазу. Косте виделось уже, что на термометре — все десять. Нет, куда больше!.. Вода перемерзла, трубы теплотрассы разворотило. Голубизной отливают рваные, острые изломы стали, будто фугасная бомба поработала во всю мощь свою.

Неужели... все начинать с самого начала?..

«Лето красное пропела, робаспец?..» Кто это?.. А-а! Старый знакомый... «Напишите объяснительную...» Ох, уж эти мне объяснительные! Сколько их предстоит написать?.. «Будьте любезны, пройдите в кабинет номер...» «Что? По какому такому праву?!»

У Кости даже в горле пересохло. Тыфу ты, проклятье! Лезет в голову всякая чертовщина! Гнал от себя назойливые, кошмарные мысли, а они опять и опять липли, как репы к овчине.

Он высунул ноги из-под одеяла, опустил на пол. Ступая на носки, кошачьим шагом пошел на кухню...

На улице — как днем. Свет фонарей казался немощным, ненужным. Но разглядеть цифры на термометре и ртутный столбик Костя не мог. С полки взял карманный фонарик, посветил и... чуть не застонал.

И все-таки не верилось ему: врет, должно быть, градусник! Посветил еще раз: ткнулся носом в стекло. «Лето красное пропела, робаспец?..» — морщась, повторил про себя.

Положил фонарик на полку, рукой отодвинул штору на двери, протиснулся бочком и тем же маршем направился к своему ложу. Но... «Что это?.. Привидение!..» — он очумело таращит глаза. В проеме двери в спальню, как в огромной раме, нечетко вы-

рисовывается силуэт странного существа, одетого в длинный розовый балахон; распущенные волосы серебрятся легким облаком. Он тут же услышал тихий, но такой знакомый голос:

— Сколько?..

Костя вздрогнул даже, облегченно вздохнул:

— А, это ты, Катюша...

— Сколько... на термометре? — уже действительно, окрепшим голосом повторила она, тряхнув головой. И россыпь серебристых искр вспыхнула фантастическим ореолом.

— Шесть, — почти спокойно ответил он. — А что?

— Вечером смотрела, было четыре. А что будет к утру?..

Некоторое время Костя не мог произнести ни слова в ответ. Дернула же нелегкая рассказать жене за ужином все неурядицы на работе.

— Ничего с ними, трубами, не стрясется. Траншея глубокая, земля сухая и дневного тепла там достаточно. Ложись, пожалуйста, — сказал он.

...Румяный, веселый рассвет все ярче раскрашивает стены, матовыми дорожками стелется по полу. Костя встал, в одну руку взял ботинки, в другую — одежду. Вышел в коридорчик, тихо и быстро оделся. Постоял, немного, прислушиваясь.

Мягкая свежесть утра бодрила, придавала столько сил, что Косте хотелось бежать. Но он сдерживал свой детский порыв. Попадались редкие прохожие. Костя шел быстрой, легкой походкой. А навстречу ему всходило солнце. Вот оно — огромное, багровое, как сказочная птица, набирает высоту.

Быстро несутся обрывки облаков: их все меньше, открывается ясное голубое небо.

День будет хорошим... Косте даже жарко стало от быстрой ходьбы. Верил он, что на трассе все в полном ажуре, но умерить шаги почему-то не мог, хотелось побыстрее увидеть, убедиться.

Вот и квартал новостроек. В утренней розовой дымке белоснежные дома плыли, как океанские лайнеры. В стеклах окон дробилось солнце, брызжа искрами электросварки.

Костя подошел к траншее, наклонился малость, вытянув шею, посмотрел вниз и замер, раскрыв рот от удивления и неожиданности.

По дну траншеи гуськом топают ребята его бригады. Впереди Сальков-Тюрючок, за ним высокий сутуловатый Титов, потом Сашок, Пан Зюзя и другие. Громко разговаривают, перебивая друг друга, размахивают руками, смеются.

«Вот черти безрогие, успели раньше бригадира!»..

С напускной серьезностью он крикнул:

— Ну и как, роба-спец?!

Тюрючок резко остановился, задрал голову. Длинный неуклюжий Титов налетел на него, сшиб с ног и сам упал. Остальные на миг смешались, переглядываясь, а затем пошла, повалила куча-мала. А Нинка-то, Нинка! Будто ворона на стог.

Костя стоял над обрывом траншеи, смеялся. Посторонний человек мог бы подумать: «Бездельники, шалопаи непутевые»...

Юрий Соломонов

КАК ШАХТЕР ДЯДЯ ФЕДЯ ОТДЫХАЛ В ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ

Скоростную проходку закончили тридцатого. На другой день дядю Федю, так звали в бригаде звеньевого Федора Кузьмича Панкротова, вызвали в рабочком.

Председатель, крепкий румяный мужик, встал из-за стола и, прихрамывая, пошел навстречу. Вместо правой ноги у председателя уже много лет был протез. Наверное, поэтому и утвердилось за ним на шахте прозвище «Деревяка». Но, несмотря на прозвище, председатель был любим и уважаем всеми.

— Что, Федя, конец авралу? — спросил он, протягивая руку. — Да... Выдали вы, однако. Молодцы! Подняли марку! Как-никак рекорд бассейна. Всей бригаде премия завтра. В День шахтера. Хорошо, а?

— Годится, — ответил дядя Федя, не выпуская из своей огромной ладони руки председателя. — А как с яслями для внука? Я ж тебе не первый раз жалуюсь...

Лицо председателя неожиданно стало очень внимательным и настороженным, словно он сейчас ел ложечкой яйцо всмятку.

— Сколько ему?

— Два и семь. Скоро в детсад. Ты нете резину...

— Два и семь, два и семь, — пред-

седатель рабочкома стал расхаживать по кабинету, и протез закрипел в такт походке.

«Подождешь, подождешь», — услышал в кожаном скрипе дядя Федя.

— А ты в отпуск с понедельника? — вкрадчиво спросил профсоюзный деятель.

— Согласно графика. Я вперед других никогда не лезу...

— Ну вот что, дед, — проникновенно сказал председатель. — Надумали мы тебя за твой труд путевкой наградить. Езжай, посмотри, чем люди живут. Не все ж, как мы — землю роют.

— Не все, — согласился дядя Федя.

— Есть что и головой работают, причем здорово у некоторых получается. Ты журнал «Знамя» случайно не выписываешь?

— Нет, — ответил дядя Федя, не понимая, куда клонит председатель. — У нас это... «Работница», «Крокодил» и «За рулем». А что?

— Да так. Давай, Федя, езжай к морю, к солнцу.

Дядя Федя осторожно взял листок, сложенный вдвое, и прочел: «Путевка. Дом творчества писателей».

— Дали... одну на комбинат... — как бы извиняясь, пояснил председатель. — Сейчас осень, у них там свободно с местами.

— К писателям? — дядя Федя задумался. — И чего же я там делать буду?

— Отдыхать, что же еще! А сможешь, так роман пиши. Твори!

Дядя Федя вздохнул и положил путевку на краешек стола: — Не... Я лучше в Симферополь к шурина смотаю. У него сад, утром протянешь руку в окно — сорвешь яблоко. Он рассказывал. И воздух целительный.

— Нет, Федя, ты чудака. Тебе путевку бесплатно предлагают в райский, можно сказать, уголок. И ты еще кобенишься. Я сейчас любому предложу, он с руками оторвет. Писателей испугался! Что они, не люди? Вон наш местный — Стрехнин. Такой как все. А пьет еще похлеще нас с тобой.

Последний довод вдохнул в дядю Федю какое-то новое настроение, и он взял со стола путевку.

Уже покидая кабинет, он обернулся:

— А это... с премией теперь как? Мне не будет? Путевка все же.

— Дадим! — крикнул председатель и пристукнул протезом.

День шахтера отмечали дома. Собралась вся семья. Сын с женой, старшая дочь с мужем, младшая, жена дяди Феди и он сам.

Когда выпили по третьей, жена сказала:

— Хорошо. Ты ведь и на море-то ни разу не был.

— Как не был? Помню, что был. В войну нас на барже везли.

— Так это река Ушайка была, — прыснула младшая.

— Сама ты лягушайка, — обиделся отец. А зять сказал:

— Интересно, Шолохов там будет...

— Молчи, — цыкнула на него жена. — Чего, у Шолохова в деревне своей места мало, поедет он тебе в общий пансионат.

— Дом творчества, — поправил дядя Федя с достоинством.

Потом, когда уже заговорили о другом, он тихонько наклонился к жене:

— Надо будет на журнал «Знамя» подписаться... Хорошая вещь...

Дядя Федя стоял на набережной в темно-синем костюме, в шляпе, с чемоданом в руке. Тридцатиградусная жара, все вокруг ходили в купальниках. А дядя Федя стоял не чувствуя зноя и глядел туда — на линию горизонта в море. «Неужели и правда другого берега нет. Ну есть же он где-то, сосем далеко. Может, в самой Турции. Точно! Там! Море-то Черное...»

Дядя Федя из большого южного аэропорта приехал сюда, в маленький поселок, автобусом. От автостанции по дорожкам огромного парка искать, где располагается начальство Дома творчества.

Он проводил глазами высокого парня с бородой, который, придерживая гитару, обнимал девушку в купальном костюме. «Таких артистов и у нас хватает», — подумал шахтер, и тут он увидел море...

Поселок стоял на берегу красивого залива. Далеко в море уходили скалы с резкими причудливыми очертаниями. Волны были тихи и без конца меняли цвета: в воде играло, забавлялось солнце. Дядя Федя вначале стоял в странной позе: слегка задрал голову. Он не видел противоположного берега, и ему казалось, что море высокое. Выше скал, выше неба. Потом он все же обнаружил зыбкую линию горизонта, выдохнул и сказал с волнением:

— Водоем!..

Взгляд дяди Феди скользнул ниже, по пляжу. Люди лежали, сидели, читали, болтали, играли в карты, массировали друг другу спины, перебирали камушки, выбрасываемые волнами. И никто, кроме дяди Феди, не удивлялся этому чуду, не имеющему размеров — морю. Даже те, кто с визгом бросались навстречу волнам, как показалось шахтеру, могли с таким же шумом нырять дома в ванну или в корыто.

И на дядю Федю нахлынуло философское настроение. Он сел на чемодан, снял велюровую шляпу — подарок дочери с мужем, вытер пот со лба, закурил. Но запах «Беломора» напомнил ему сразу шахту, бригадную мойку. Казалось, вот сейчас из-за парапета высунется перемазанная углем голова крепильщика Сеньки Дятлова и скажет: «Ну-ка, отец, дай мне закурить, а то чужие надоели...»

От такой мысли дяде Феде сделалось скучно, и он выбросил окурок. «Устроюсь, трубку поищу хорошую. Здесь ее обкурю как следует. Попросят они у меня потом «беломорчику». Но и от этой мысли, нелепой и даже злорадной, дяде Феде стало нехорошо. Потому что был он человек незлой. А почему ему пришла в голову мысль начать курить трубку, он и сам-то объяснить не мог.

...В столовой Дома творчества дядя Федя сел за указанный вежливой официанткой столик. Огляделся. В помещение втекал народ. Он мало чем отличался от пляжной публики. Темные очки, усы, бороды, цветастые кепочки на мужчинах и женщинах. Были здесь и почтенные старцы, и молодежь. Но особенно странными показались дяде Феде люди, возраст которых он определить не мог. «Вроде старушка, а в красных штанах, как у моей Вальки. А этот на вид молодой парень, а борода белая...»

Люди улыбались друг другу.

За стол к дяде Феде сели двое. Она — высокая, в ярких брюках, цветастой кофте, голова замотана в платок, брови тонкие-тонкие. Он — невысок, седая голова, одет скромно, все время озирается, ищет кого-то глазами. Она тоже ищет, но делает это незаметно.

— Приятного аппетита, — сказала дяде Феде Она, глядя повед его головы.

— Давно приехали? — спросил дядю Федю Он, а сам глазами к двери.

— Сегодня прибыл, — ответил шахтер и тоже забеспокоился, стал ози-раться.

— Говорят, такая погода продержится еще дней двадцать, — заметила Она, вдруг начав к дяде Феде приглядываться. — Простите, мы с вами где-то виделись? Определенно! В домлите, да?

Дядя Федя собрался было объяснить, что ни в каком домлите он не был, но в это время Она снова глянула куда-то выше дядифединой макушки и прошептала:

— Василий, он пришел! Он здесь!

Тот, кого так ждали эти двое, был в синем спортивном костюме, белых тапочках, с пышной черной шевелюрой.

— Иди, договорись с распорядителем, чтобы нас посадили к нему, — Она забарабанила пальцами по столу.

Он пошел на кухню, долго не появлялся, потом исчезла и Она. Наконец вернулись довольные и направились к мужчине с шевелюрой. Раскланялись, стали что-то объяснять его соседям и показывать на дядю Федю.

И вот уже к дяде Феде подсели мужчине лет тридцати пяти с узенькой рыжей бородкой и старушка, очень уж старенькая, в длинной юбке, маленькая, сухонькая. Она шла растревоженная перемещением, и тихонько что-то шипела себе под нос.

— Ничто я не ценю в людях так, как хорошие манеры, — обратилась она к шахтеру хриловатым голосом. — Но как сказал Дюамель: «Если культуры нет у людей в сердцах, то нигде ее больше быть не может». Какая вульгарная парочка! Неужели они думают, я не догадываюсь, зачем им это соседство. Мне не представили того мужчину в очках, хотя я уверена, манеры у него совсем иные и искать его расположения так нагло не стоит. Сейчас все ищут выгодных знакомств. Я прожила семьдесят шесть лет на этом свете и никогда не слышала, что Чехов устра-

ивал свои рассказы, извините, по бла-ту!

Мужчина с бородкой поперхнулся супом, посмотрел на старушку слезящимися глазами и выдохнул:

— Тогда литераторов меньше было.

— Ах, милый, — старушка неожиданно достала мундштук и вставила в него папиросу. — Что вы знаете о тогда! Вы думаете, раньше было меньше бесталанных людей? Увы, нет. Если человек имеет способности, зачем ему лезть в литературу с оглоблиной?

— Сейчас сложнее отношения между издателем и писателем, — мужчина усмехнулся. — Это Сизифов труд — пробивать рукопись.

— Вы поэт? — спросила старушка.

— В некотором роде.

— А вы? — она внимательно посмотрела на дядю Федю.

— Я — нет, — ответил он, краснея. — Я проходчик, шахтер. Мне путевку в рабочкоме дали.

— Прекрасно, — сказала она. — Море щедро, солнце не делает выбора. Мы должны здесь хоть на немного продлить свою жизнь... А что до нашей поэзии, то...

Старушка некоторое время молчала, словно припоминая что-то, потом стала говорить на непонятном для дяди Феди языке. Но он сразу понял по странным, незнакомым звукам, что это стихи. Старушка читала тихо, словно сама себе.

Она кончила, помяла незажженную папиросу и сказала:

— Это Поль Верлен. Его «Искусство поэзии» по-русски лучше всего так: «За музыкою только дело. Итак, не размерай пути. Почти бесплотность предпочти всему, что слишком плоть и тело. Не церемонься с языком, но отбирай слова с оплошкой. Всех лучше песни, где немножко и точность точно под хмельком...»

Дядя Федя, помолчав, сказал:

— Конечно извините, вы, так сказать, тоже писательница?

— Я? — старушка словно очнулась. — Я... Нет. Я даже не по путевке. У меня курсовка. Только питание с великими. Живу я на горе у Ивана Прокопьевича. Славный человек, рыбак. Он поселился здесь, когда и Дома творчества-то не было...

Мужчины кончали есть свой суп, когда старушка встала.

— Курить пойду, — сказала она. — А вы набирайтесь сил. Вам — в литературу, мне — к морю. Старушка ласково посмотрела на дядю Федю:

— Думаете, какое отношение я имею к литературе? Никакого. Просто я люблю вас всех, черти!

...Дядя Федя лежал на дощатом щите, который выдали ему на пляже по пропуску, позволяющему пользоваться всеми преимуществами организованного отдыха. Берег моря был заполнен людьми. Они располагались парами, кучками. Таких, как дядя Федя, одиночек, было очень мало.

Вначале он дремал, чувствуя как солнце припекает кожу. Потом встал, закурил. Стал рассматривать окружающих, прислушиваться к разговорам. С одной стороны неслось:

— И что вы думаете, какую цену дали в комиссионке? Я не скажу, не хочу портить вам отдых. Двадцать три рубля мне дали. Смешно.

— А вы что думаете, в комиссионке не жулят? Ха! Да они на вашей тряпочке минимум червонец поймеют. А если вещь в моде. У-у-у...

Другая группа:

— Конечно, он считает Бергмана своим учителем. И только потому, что был с ним на одном фестивале. Но творческий почерк, дорогой мой, его ведь иметь надо. Нет, определенно, это все эпигонство чистой воды. Содрал отовсюду по-маленьку. Бергман, Феллини, Куросава. Странно, что его никто не схватил за руку...

«Что-то они все про воровство?» — подумал дядя Федя и вспомнил, как однажды взял на шахтовом дворе бревно для палисадника и попался на глаза главному инженеру. Сколько было крику! Но бревно инженер все-таки потом взять позволил. Бери, мол, если ты такой бедный. Дядя Федя тогда вспыл, швырнул злополучную деревяшку, да так, что та пополам раскололась. «Все сгниет с таким хозяином, — злорадно закричал он. — Оно уже три года без дела валяется. Пожалел! Вспомнил, что казенное...» А потом стыдно стало дяде Феде. Зять целую подводу досок купил, а дядя Федя к палисаднику даже не прикоснулся.

Появилась уже знакомая шахтеру парочка. Он и Она. Она шла впереди, жестикулируя руками. Он — сзади, тихо и понуро. Чувствовалось — ругаются. Она устроилась на размалеванном половичке. Он постоял, хмурясь, и пошел в море. Было заметно, что пловец он неопытный, боязливый.

Дядя Федя усмехнулся, глянул на женщину, сидящую на цветной тряпке, и увидел, что та плачет.

«Эхма! Писатели! Он, поди, с похмела... То-то весь желтый. На пиво стал кланчить, а она и взъелась. Теперь вот ревет».

Мужчину он догнал быстро. Тот дышал с трудом, глотал воду.

— Ты не из моря, а в него стремишься, — серьезно и строго сказал дядя Федя. — Это ж закон Архимеда. Тогда тебя выталкивать будет.

— Меня вода плохо держит, — ответило отдувающееся лицо.

— А жену зачем обидел? Ты плескаешься, а она там как телка. На пиво, что ли, не дает? Сказал бы мне. Сейчас обсохнем, втихаря сбегает.

Мужчина резко обернулся, полными отчаяния глазами посмотрел на берег:

— Опять! — заскрипел он зубами. — Нет, ну что мне делать. Это же Голго-

фа! Каждый день! А что я могу, нет вы посудите сами. Разве я бог?

Они поплыли обратно, коснулись ногами дна. Дядя Федя увидел, что перед ним далеко не бог. Человек был маленький, бледный, слегка кривоногий. Он сплюнул в волны и прошептал:

— Я двенадцать лет в школе проработал, у меня ребята греческую мифологию как свои пять пальцев знали. Меня все любили, я не хвастун. А потом я написал книгу. Не книгу, так, размышления о детях, литературе, школе, кое-что из личного опыта. Ее напечатали, меня приняли в Союз. С этого все началось. Она помещалась на писательских лаврах: заставила меня бросить школу, купила машинку, говорит, надо писать, писать. Сама стала работать на две ставки — она педиатр.

Он по-детски обидчиво шмыгнул носом, и дядя Федя решил, что сейчас он заплачет. Но человечек только погладил свою белую мокрую голову.

— Поверьте, она меня придумала. Вторую книгу разругали вдребезги. Мы с ней почему-то решили, что вторая должна быть обязательно про войну. Я воевал неделю, с Японией. И, естественно, все придумал. Причем плохо, я знаю. А теперь, теперь сценарий. Мы здесь второй сезон. Она заставляет меня ловить киношников, знакомиться с ними, предлагать. Они смеются. Говорят, я не знаю специфики, рассказывают, какие кипы рукописей лежат на киностудиях.

— Значит, никакого навару? — мрачно спросил дядя Федя.

Человек мотнул головой.

— Ну так брось все к чертовой матери! Иди в школу. Бабы, они, я знаю, до чего хошь человека доведут. Надо чтобы у мужчины всегда заработок был. Иначе как? Сколько в месяц выходит?

— Да ерунда, — они вышли из мо-

ря, подошли к женщине. Она внимательно разглядывала в зеркальце свои опухшие глаза. Потом жалостливо посмотрела на мужа:

— Васенька, ну что ты! Я ничего... Давай отдыхать. Бросай все. И не надо. Я сейчас подумала. К чему?! Глупо, так глупо! Поступай, как хочешь. Я покоя хочу, как раньше...

— В самом деле, — сказал дядя Федя тихо. — Давайте вечером соберемся. Можно у меня в комнате. Я приехал, мимо базара шел, рыбу чудную продают: длиннющая, а голова, как у щуки...

— А помнишь, как на Селигере, — она уже улыбалась, — Вася?

— Ни черта он не смыслит, — сказал вдруг Васенька. — Подумаешь, мэтр. Да я в пьесу переделаю, за месяц перелопачу...

...Неподалеку тихо пели под гитару. Дядя Федя немного удивился: девушки были худые, высокие, а парни — полненькие, кое-кто даже с брюшком. Но пели хорошо: о море, о горах, о том, что обязательно нужно возвращаться в то красивое место, о котором песня.

За несколько дней, проведенных здесь, дядя Федя успел прилично загореть. Тело приятно ныло от солнца, кожа стала темной, тугой, пахла солью. Шахтеру нравилась его спокойная, монотонная жизнь. Столовая, пляж, столовая. По вечерам кино. Чем занимались, кроме купания, остальные, дядя Федя мог только догадываться. Быть может, они писали что-то в своих маленьких домиках под тенистыми деревьями или тихо ругались с женами, как уже знакомый ему Вася. Несмотря на то, что шахтер видел всех трижды на день, встречал на пляже, в море, несмотря на это, в каждом из них чувствовал дядя Федя какую-то тайну. Впрочем разгадки он не хотел: дяде Феде даже нравилось, что люди живут — каждый своим кругом — и не лезут друг к другу. От

этого дядя Федя и сам себе казался более загадочным и значительным.

Он купил яркую полотняную кепку от солнца и шорты, потому что в такой амуниции ходили здесь все. Вначале дядя Федя стеснялся флиновать по аллеям с голыми коленками, но вскоре привык.

Иногда наваливалась какая-то скука.

Тогда он шел к пивному ларьку. Шел рано утром, когда народу совсем не было.

— Что опять не спишь? — сердито спрашивал его продавец, чернявый, похожий на кавказца человек.

— Я днем сплю, — извинялся дядя Федя и сыпал в тарелочку мелочь.

— Бабу нашел?

— Да нет, к чему?

— Ищи. Какой ты писатель без бабы.

— Не писатель я, — сказал ему в последний раз дядя Федя. — Шахтер.

Продавец засмеялся:

— А я и смотрю, ты не такой.

— Какой не такой? — обидчиво спросил дядя Федя.

— Совсем другой. Руки вон: в одну ладонь две кружки налью. Да и говоришь мало. Тут как соберутся — ой-ей! По кружке возьмут и держат, держат посуду. Все по-умному говорят. А ты молчун.

— Значит, дурак?

— Зачем дурак. Значит, думаешь много. Пей давай.

Дядя Федя пил пиво, продавец долго смотрел на него, потом спросил:

— «Аэропорт» читал?

— Нет, — ответил шахтер. — Ты, что ли, написал?

— Почему я? Человек один. Хорошо показано...

— Наверное, летчик писал...

— Кто его знает. Ты бы про шахту написал?

— Там видно будет, — загадочно молвил дядя Федя и ушел.

...Гитара смолкла. По пляжу словно прошестел легкий ветерок: «Вон он пришел». «Смотрите!» «Тот самый!» «С кем это он?» «Наверное, дочка».

На берегу появился Знаменитый Поэт. Его ждали уже не первое утро. Многие знали — он здесь. О приезде Знаменитого говорили всюду: в столовой, на пляже.

И вот он появился.

Знаменитый Поэт был худ, высок, держался надменно. Он каким-то странным образом ухитрялся держать за руку маленькую девочку, не сгибаясь, не наклоняя головы. На нем была рубашка в синий горошек и такие же шорты.

Пляж загудел, зашевелился. Разморенные тела вздрагивали. У Поэта находились знакомые, они подходили к нему, здоровались, теребили девочку. Наконец Знаменитый выбрался из окружения и стал озираться — подыскивал место, где можно было лечь. Устроился он совсем рядом с дядей Федей. Снял рубашку, повязал ею голову. Девочка ползала на коленях и собирала камушки.

Дядя Федя все время старался не смотреть в сторону Знаменитого: «Да кто ты такой? Я тебя знать не знаю». Но он вдруг почувствовал, что Поэт сам на него уставился. Шахтер перехватил взгляд и понял, что мгновение назад Знаменитый смотрел на его, дядифедину грудь, а точнее — на татуировку. Давно появился у дяди Феде на теле этот рисунок. Дружки ему в семнадцать лет накололи картину «Иван Царевич на сером волке». Став старше, дядя Федя, когда на него смотрели, переживал, что рисунок украшает его мощный торс. Сейчас он тоже смутился.

Знаменитый Поэт сказал тихо, с усмешкой:

— Ничего собачка.

— Осторожно, укусит, — заметил шахтер.

Девочка тоже обратила внимание на рисунок.

— Папа, это овчарка?

— Мне говорили, что это очень больно, правда? — спросил Знаменитый и посмотрел с сочувствием.

— Не помню, — дядю Федю утомляла эта экскурсия по его груди, и он лег на живот. На спине у него не было никаких достопримечательностей. Только длинный глубокий шрам.

— Война? — поэт был явно увлечен анатомией тела дяди Феде.

— Нет, авария в шахте. Да что я тебе — лошадь в магазине? На себя посмотри.

— Я тоже в шахте работал. Два месяца, крепильщиком.

— Сбежал? — теперь уже дядя Федя смотрел с насмешкой.

— Нет, в газету пригласили работать, потом институт. А шахту помню.

Было заметно, что компания неподалеку внимательно слушает разговор.

— Стишки писать легче, — сказал дядя Федя. — Это уж точно.

— Не скажите, — возразил Знаменитый. — Иногда так припечет, хочется взять лопату и пойти вагоны разгружать.

— Ох-ох! Глянь на него! — дяде Феде стало весело.

— Вы, очевидно, не литератор и не знаете, — Знаменитый стал говорить голосом резким и ехидным.

— Без меня хватит комиков.

— Почему комиков?

— А потому.

— Не любите книг?

— Люблю, почему же. Когда книга за душу хватает, разве плохо?

— Писатели сами не нравятся?

— Есть основательные люди.

— С кем вы знакомы?

Дядя Федя смутился, но выход нашел:

— Да я так человека, издавека определяю.

— Прямо-таки издалека. А про меня что скажете?

— Гантелями надо заниматься...

Они посмеялись.

— Папа, — сказала девочка, — я купаться хочу.

— Пойдем, — Знаменитый Поэт встал, снял с головы рубашку.

Они пошли к морю. Девочка плескалась возле берега, Поэт ходил по песку, трогая кончиками пальцев воду.

Стайкой порхнула в море компания, что была рядом. А шахтеру вдруг сделалось мутно, он хотел было отправиться к пивному ларьку, но вдруг услышал над собой знакомый хриплый голос:

— «Быть знаменитым некрасиво — не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех...»

Возле него стояла старушка, та самая, что обедала с ним за одним столом. Она, прищурившись, смотрела на Поэта.

— Вот и вы не выдержали, — молвила она, обращаясь к дяде Феде. — И вы уже захотели быть знакомым этого человека. Боже мой, как банален мир! Когда мы не жжем костер своей славы, мы просимся согреть руки у чужого. Ну-с, вы довольны?

— Да он сам первый начал, — словно школьник, оправдывался дядя Федя. Старушка помолчала, закурила.

— Он несомненно талантлив, — сказала она. — И нравится многим. Но известность свалилась на него неожиданно, и он не сообразил сразу, как с ней поступить. А слава, милейший, вовсе не дым. Слава — красивейшая из женщин. Она делает счастливым того, кто умеет за ней с блеском ухаживать, кто будет галантным, тонким, наконец, ироничным к себе, черт возьми. Женщины это любят и не переносят, когда их грубо хватают за талию. Дяде Феде понравилось, как говори-

ла старушка. Он даже с какой-то жалостью посмотрел на Знаменитого Поэта, который никогда не будет счастлив от своей славы, потому что грубо с ней обошелся.

А Знаменитый вдруг тревожно оглянулся на шахтера и показал ему рукой в море. Дядя Федя посмотрел в сторону буйка на воде и метрах в сорока от берега увидел голову в красной шапочке. Потом она исчезла, и из волны выплеснулась рука, вялая, бессильная. Потом голова показалась вновь, и раздался нечленораздельный звук.

Шахтер почувствовал какой-то почти физический удар в голову: «Тонет!» Он рванулся, перепрыгнул через кого-то, побежал, петляя, достиг воды и из-за большой у берега глубины потерял почву под ногами. Поплыл резко саженьками туда, к буйку, сплевывая соленую воду. Плыл и смотрел, не покажется ли голова вновь. Неожиданно услышал сбоку от себя бурлящие звуки и понял, что его опережает еще один спасатель. Человек плыл по-спортивному, опустил голову в воду, плыл быстрее дяди Феде.

Вот пловец добрался почти до буйка и нырнул. Только он исчез, как появилась на миг красная шапочка. Снова взмах руки. Дядя Федя изменил курс. Высунулась голова того, кто обогнал дядю Федею. Знаменитый задыхался, выпучив глаза. Он крикнул что-то и снова нырнул. Дядя Федя ринулся за ним, увидел два переплетенных тела. «Утопит!» — мелькнуло у него. Дядя Федя приблизился и рывком расцепил руки тонущей девушки. Знаменитый пошел вверх, за ним — жертва. Шахтер вдруг заметил на ее ногах ласты. Он тоже всплыл и увидел, как Поэт, обхватив девушку, плывет к пляжу.

Поэт попытался было нести ее на руках, но закачался от усталости и упал. Понесли вместе с дядей Федей сквозь толпу причитающих зрителей, уложили на песок.

Знаменитый встал на колени и стал слушать: бьется ли сердце.

— На живот давить надо, — переводя дух, заметил дядя Федя. — Чтоб вода из желудка...

Девушка неожиданно зашевелилась, открыла глаза, посмотрела на склонившегося над ней Поэта и прошептала:

— Я всегда знала, что вы такой... Как прекрасно, что это именно вы...

Рядом раздался смех. Хохотала какая-то компания. Остальные ничего не могли понять.

Один из компании вдруг сказал сердито:

— Вика, хватит. Вы ее простите, она большая шутница. Вставай, смотреть противно...

Поэт встал с колен, некоторое время он внимательно изучал лежащую девушку. Под его взглядом «утопленница» съежилась. Знаменитый молча протиснулся сквозь толпу, взял на руки девочку и пошел с пляжа.

— Дурачье, вот дурачье! — сказал дядя Федя и тоже ушел.

Когда срок путевки кончился, дядя Федя уехал из Дома творчества к шурину в Симферополь, потом был у

сестры в деревне: целую неделю ремонтировал дом.

— Как отдохнул? — спросил его в рабочкоме «Деревяка».

— Не взвешивался, — серьезно ответил дядя Федя.

— Как писатели?

— Прилично, — ответил дядя Федя. — Не хуже нас с тобой.

А когда прошел еще месяц, дядя Федя почти забыл о том, как он отдыхал в Доме творчества писателей. И только раз вспомнил. Они начинали новую скоростную проходку — шли на рекорд. Дядя Федя выходил в первую смену. Они стали в шахтную клеть вместе с Сенькой Дятловым. Тот, как всегда, попросил «беломорину», подмигнул всем и сказал:

— Ну что, дядя Федя, дадим рекорд — писатели о нас роман напишут? Ты ведь теперь с ними кореш. Прогремим на всю Европу!

Дядя Федя помолчал, глядя, как мелькают мимо несущейся вниз клетки огоньки лампочек, и сказал:

— Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь...

Сказал и замолчал.

Как там дальше — он забыл...

Вечный огонь памяти

Владимир Шабалин

ЗА СВОБОДНУЮ ВЕНГРИЮ

К началу декабря 1944 года войска Украинских фронтов освободили большую часть венгерской территории. Ставка Верховного главнокомандования поставила перед этими фронтами новую задачу: обойти с севера и юга столицу Венгрии город Будапешт, окружить, а затем уничтожить или пленить сосредоточенную там группировку фашистских войск.

Утром пятого декабря основные силы Второго Украинского фронта маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского после мощной авиационной подготовки прорвали оборонительные позиции противника и развернули наступление в северной части Венгрии, на территории Ноградской провинции.

Стремительно продвигались вперед части гвардейского механизированного Сталинградского корпуса, один за другим освобождая хутора, села и небольшие города Ноградской провинции. Противник, ошеломленный силой удара советских подвижных соединений, откатывался на север, к венгерско-чехословацкой границе. И лишь в приграничном венгерском городе Баллашшадарьмате советские воины почувствовали, что враг еще силен и способен оказывать бешеное сопротивление.

Баллашшадарьмат горел. Свыше сотни фашистских орудий с закрытых позиций вели огонь по гвардейцам.

Бывший прокопьевский шахтер сержант Василий Фомич Александров, широкоплечий

двадцатисемилетний мужчина, стоял около своей автомашинны и напряженно выслушивал приказание начальника штаба танкового батальона старшего лейтенанта Глинкина. Глинкин старался перекричать гул взрывов, автоматных и пулеметных очередей, но бесполезно. Тогда он стал кричать прямо в ухо сержанту:

— Возьми три машины, кроме своей, погрузи в медчасти раненых и газуй на базу бригады. Загрузись снарядами и чтоб через три часа был здесь. Через три часа! — старший лейтенант выразительно постучал по стеклу своих больших ручных часов. — Выполняй!

— Есть! — ответил Александров.

Минут через десять колонна из четырех зисов, в кузовах которых на соломенных подстилках лежали тяжелораненые бойцы, двинулась на юг. Василий Александров воевал четвертый год, изъездил на этом вот самом зисе не одну тысячу километров, но всегда чувствовал себя очень плохо, когда вез раненых. Особенно тяжелораненых. Сам не однажды простреленный, он всем телом осязал, как жестко дно кузова. Он знал, что испытывают они, лежа на спинах и глядя в чистое венгерское небо. Каждым нервом своим Василий ощущал, как сильно напряжены их мускулы в ожидании вражеских самолетов или просто сильного толчка на ухабистой дороге. К счастью, на юг от Баллашшадарьмата дорога была в исправном состоянии. При скорости в 60—70 километров машину даже не встряхи-

вало. А вот чистое небо в эти минуты Александров просто ненавидел. Он понимал, что немецким летчикам не до погони за маленькой автоколонной, что они сейчас, видимо, получают от своего командования куда более серьезные задания, но в сердце нарастала и крепла тревога.

На большой скорости проскочили городок Легенд. Василий легко вздохнул, вспомнив, что именно где-то здесь, под Легендом, два дня назад он вовремя притормозил, заметив впереди плохо замаскированную немецкую мину.

— Теперь все будет хорошо, — вслух произнес сержант и глянул в заднее окошечко.

Две черные точки падали с чистого неба на колонну. Александров успел затормозить и выскочить из машины. О том, чтобы снять раненых и оттащить их в разные стороны, даже и подумать было некогда. Грохот пулеметной очереди и вой одного, а затем другого «мессера» бросили сержанта на дорогу. После четвертого захода самолеты исчезли. Василий бросился к кузову. Двое из пятерых раненых были убиты. Кровь залила солонку и, просачиваясь через щели, капала на асфальт. Три пары глаз безразлично смотрели на Александрова.

— Сержант, сержант! Сюда! У Петровского машина горит, — услышал Василий.

Иван Петровский, шофер четвертой машины, открыл все три борта уже охваченные пламенем. Вчетвером, обжигая руки и лица, перенесли раненых на три оставшиеся зиса. Петровский сел в кабину Василия. Колонна вновь устремилась на юг.

Минут через десять Александров увидел на дороге трех мужчин в военной форме. «Немцы», — сказал Петровский. «Пожалуй», — согласился Александров. Но солдаты были безоружны, стояли на месте, не собираясь, видимо, ни сопротивляться русским, ни бежать от них.

— Хенде хох! — враз крикнули Александров и Петровский.

Те послушно подняли руки. Были они в венгерской военной форме.

— Ми мадьяр, зольдат мадьяр. Плен, плен, — обратился к Василию высокий старый венгр с густыми седыми бровями.

— Где оружие? Гэверы где? — строго спро-

сил сержант, справедливо считая, что немецкое слово, хотя и произнесенное им на сибирский лад, будет понятно венграм. Старый венгр махнул рукой в сторону степи.

— Побросали, наверно, — предположил Петровский, — с оружием в плен сдаваться довольно неудобно.

Как старшему по команде Александрову пришлось решать, что делать с этими тремя венграми, стремящимися в плен. Как быть? Пленить? Но куда их девать? Везти с собой? Не на чем. В кузовах раненые. В кабину не посадишь. Кто знает, что у них в голове. Не на подножках же их везти.

— Пусть кому-нибудь другому сдаются, — сердито сказал Иван Петровский.

— Иного выхода нет, — согласились два других шофера.

— Оставляйтесь здесь, на дороге, и ждите, — приказал Александров венграм. — Нам некогда — и для убедительности точно указал пальцем, где им находиться и ждать.

— Плен, плен, — вновь заговорил старый высокий венгр.

— Да вы что на самом деле, — зло крикнул Александров, — у нас боевое задание, нам через два часа надо быть в батальоне, а вы тут нас задерживаете.

Венгры, чувствуя в голосе русского грозные нотки, отошли в сторону. Александров нажал на стартер. Поехали. Но не прошло и минуты, как Василий услышал сигналы задних машин.

— Что за черт?

— Венгры бегут за нами, — сказал Петровский.

— Может, они с ума сошли? — предположил Василий.

— Теперь уж нам от них не отвяжаться, — тоскливо проговорил, притормаживая, Александров, — придется на подножках везти.

Минут через двадцать три зиса въехали в расположение тыловых подразделений корпуса. Санитары уносили раненых, а Василий отправился искать начальство. Ему повезло. Неожиданно наткнулся на знакомого капитана из особого отдела и доложил ему о трех венграх, насильно сдавшихся ему в плен. Капитан увел чудаковатых пленных...

Старший лейтенант Глинка обнял и расцеловал Александрова.

— Молодец, Василий, вовремя снаряды подбросил. Был ты хорошим шахтером, стал молодцом-шофером! Представлю к правительственной награде, а сейчас гони назад за снарядами.

Евгений Васильевич Глинка давно знал Александрова, доверял ему самые ответственные дела не только потому, что тот всегда умел выполнить любое поручение. Говорило в Глинке этакое чувство веры в земляка-сибиряка: он-то уж не подведет.

Танковый батальон Глинки и прикрывавшая его пехота за несколько дней боев под Баллашадарьямат потеряли до четверти людей и несколько боевых машин. Оборонявшие город эсэсовцы через каждые двадцать—тридцать минут бросались в контратаки. Дело доходило до рукопашных схваток.— Вот тебе и сорок четвертый год,— говорили солдаты,— дерется фриц как вроде и небитый. С другой стороны, куда ему, фашисту, деваться... Напакостил много...

Вечером девятого декабря корпус приступил к подготовке решающего штурма. На следующее утро ураганный минометно-артиллерийский огонь советских батарей, натиск танков, пехоты и лихих конников 4-го кавалерийского корпуса смели очаги обороны эсэсовцев. Город Баллашадарьямат был освобожден.

Сержант Александров неожиданно был вызван в особый отдел, знакомый капитан рассказал сибиряку о трех плененных им венграх.

— Они были насильно мобилизованы салашистами, целых два месяца скрывались от немцев и собственных фашистов. Старик с длинными белыми бровями в свое время воевал за Советскую власть и здесь у них, в Венгрии, в девятнадцатом году и у нас, в России.

Василий почувствовал, как потеплело у него в груди. Он знал из политинформаций, что и среди немцев даже в самой Германии есть друзья, но за всю войну впервые лично встретил людей из вражеского стана, чьи сердца бились в такт с его сердцем, чьи мысли были и его мыслями.

Не удалось Василию Фомичу побывать в

Венгрии и встретить хотя бы одного из трех «пленных».

После освобождения Баллашадарьямата 4-й гвардейский мехкорпус в спешном порядке был брошен на восток к другому городу Ноградской провинции — Сечени. Измотанные многодневными тяжелыми боями и стремительными переходами, гвардейцы с ходу вступили в бой. Десятки батарей противника с хорошо замаскированных закрытых позиций вели сильный огонь по наступающим советским подразделениям.

Танковый батальон Глинки, развернувшись в боевой порядок, ворвался на окраины Сечени, но в дальнейшем с наступлением темноты вынужден был отойти на исходные рубежи. 12 декабря Глинка был тяжело ранен в ногу. Прощаясь с Александровым, он тихо произнес:

— Отвоевался я, Вася, да и ноге, наверно, каюк. Ну, до встречи в Прокопьевске.

А тринадцатого тяжело ранило и Александрова. Десятки осколков вонзились в его тело. До сегодняшнего дня они не дают покоя старому солдату.

20 декабря 4-й мехкорпус был перебросен из-под Сечени на запад. Его сменили другие соединения 2-го Украинского фронта. К концу декабря вся территория Ноградской провинции была очищена от немецко-фашистских оккупантов.

В то время как севернее и северо-восточнее Будапешта дрались с врагами соединения маршала Малиновского, южнее и юго-западнее венгерской столицы громили противника воины 3-го Украинского фронта маршала Толбухина. Пространство между озером Балатон и Дунаем с декабря сорок четвертого по март сорок пятого года было обильно полито кровью. В различных соединениях и частях сражались здесь в самом центре Венгрии тысячи кузбасовцев. Южнее Будапешта массовый героизм проявили наши земляки, воевавшие под знаменами знаменитого 1-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта Русинова. Громя врага на Дунае и под Секешфехерваром, не забывали сибиряки, что их соединение (бывшая сотая стрелковая дивизия) первым во всей Красной Армии получило

гвардейское знамя, что в тяжелые июльские дни сорок первого не дрогнули под Минском будущие гвардейцы и за несколько дней боев только одних фашистских танков сожгли свыше сотни. Помнили воины, сражаясь с врагом на венгерской земле, что в их соединении слово «отступление» не существует. И когда Василий Николаевич Плотников (сейчас он живет в городе Березовском) остался один на один с несколькими танками противника, он знал, что ему делать. За несколько минут Плотников сумел выиграть бой, подбив танки из орудия и отогнав автоматным огнем вражескую пехоту. А его однополчанин и земляк из Топок Николай Денисович Борисов за ратные подвиги был удостоен звания Героя Советского Союза. В боях под Секешфехерваром

и у озера Веленце, на Дунае и у стен Будапешта отличились гвардейцы из Киселевска Иван Калистратович Демченко и Петр Яковлевич Кудленко, прокопчане Степан Денисович Маркитан, Федор Тимофеевич Бахтеев, Константин Александрович Ямщиков и сотни других кузбассовцев. Рядом с боевыми орденами светится на груди у каждого из них медаль «За город Будапешт».

Сто сорок тысяч советских воинов отдали свои жизни за свободу Венгрии. Лежат они под Дебреценом и Шальготарьяном, в долинах спокойных венгерских речек и на крутых берегах Тиссы и Дуная. И только одно утешает их матерей, жен, сыновей и дочерей, что не зря пролита их кровь, не зря сжимали их мертвеющие пальцы сухую траву венгерских степей...

г. Прокопьевск

Человек и природа

Юрий Калягин, Валентин Махалов

ТЫ ИДЕШЬ ПО ТАЕЖНОЙ ТРОПЕ

1

Есть в нашем индустриальном крае одно удивительное место — Горная Шория. Как сохранился во всей своей неповторимой первозданности этот дикий таежный уголок на краю одного из самых высокоразвитых промышленных районов Сибири, действительно, удивления достойно. И земля Кузнецкая вроде бы по-европейски тесновата, не то что, к примеру, край Красноярский, подвинувший свои пределы чуть ли не от центра Азии до берегов Ледовитого океана, и два десятка городов наших почти соприкасаются друг с другом плечами, а вот сохранился-таки у нас уголок земли, от которого веет настоящим сибирским простором, таежной свежестью, изначальностью природы. Чистый горный воздух, постоянный на ароматах трав и хвойного леса, прозрачная, как хрусталь, родниковая вода, стремительные ручейки и реки, богатые хариусом, ленком и тайменем, обилие живописнейших мест — все это выгодно отличает природу Горной Шории от других районов Кузбасса, где окружающая среда, что греха таить, сильно пострадала от промышленных отходов и вредных выбросов.

Но все это взгляд, как говорится, издалека, и радужное представление о целомудренной нетронутости этого края несколько тускнеет, когда поближе познакомишься с ним, с истинным, в полном смысле сегодняшним его состоянием, когда подумаешь о его близких и не очень близких перспективах. Поэтому нам — биологу и писателю — хотелось бы поделиться своими тревогами за состояние природных ресурсов этого региона, которые возникли у нас при многолетнем знакомстве с Горной Шорией, с ее природой, и высказать свои пожелания и рекомендации, вынося их на обсуждение широкого круга читателей и специалистов.

2

В недалеком прошлом вся территория Горной Шории была покрыта темнохвойными и смешанными лесами, в которых водилось много зверя и птицы. Лоси, маралы, дикие козы, медведи, рыси, как вспоминают шорцы-охотники, встречались здесь чуть ли не на каждом шагу. Богаты были эти места и пушным промысловым зверем — соболем, норкой, выдрой, горностаем и колонком. Боровой и водоплавающей птицы тоже было в достатке.

И все это было в общем-то не в столь отдаленные времена, было это и на нашей памяти, хотя нашему первому знакомству с Шорией едва минуло полтора десятка лет.

Теперь же — очень трудно, почти невозможно, найти хотя бы небольшой участок бывлой черневой тайги на расстоянии трех—пяти километров от рек и речек, по которым по большой весенней воде возможен молевой сплав леса. Большая часть горношорской тайги сейчас представляет собой либо гарь, либо вырубки в различной стадии восстановления. Посмотришь на старые вырубки, и сразу станет видно, что рубка леса велась здесь без всякого соблюдения элементарных норм и правил. А ведь подобное совершенно недопустимо в условиях горной местности. Сплошная вырубка затронула и водоохранные леса. А ведь именно они — основной регулятор и накопитель грунтовых вод, благодаря им регулируется сезонный уровень речной сети Горной Шории. При нарушении этого природного механизма водные артерии этого края очень чутко реагируют на поверхностный сток, связанный с таянием снега и сезонными осадками. Отсюда — высокий уровень весенних половодий (на голом месте снег тает гораздо интенсивнее, да и вода долго не задерживается) и сильное обмеление рек в конце лета. Все это в конечном итоге самым отрицательным образом сказывается на запасах лососевых рыб и других представителей животного мира, связанных с водной средой обитания.

Особого внимания заслуживает проблема кедра. Общеизвестно, что кедр, являясь ценнейшей породой дерева, чрезвычайно трудно восстанавливается как в искусственных, так и в естественных условиях. Это уже само по себе требует особо бережливого отношения к этому природному ресурсу. Однако Усть-Кабырзинский лес-

промхоз ведет до сих пор сплошную вырубку кедра, не придерживаясь возрастного критерия. Вырубаются деревья в возрасте 150—250 лет и много моложе, хотя по инструкции можно рубить только перестойные деревья. Кедр сплавляется по рекам Кабырзе и Мрассу в весенний паводок молевым способом, который приводит к большим потерям древесины. Кроме того, кедр зачастую используется совершенно не по назначению. Побывайте, к примеру, в поселке Усть-Кабырза, пройдите по его улицам и закоулкам. Вы увидите возле каждого дома громадные поленицы, сложенные из плах «красного» дерева. Здесь это самое ходовое топливо. Во-первых, оно всегда под боком, заготавливать его легко, а во-вторых, кедровые дрова хорошо колются да и горят прекрасно. В одном только поселке Усть-Кабырза живет далеко не одна сотня семей, вот и прикиньте, сколько ценного природного материала только здесь вылетает в трубу. Это ли не расточительство народного богатства.

По данным 1973 года, запасы кедра на территории Усть-Кабырзинского леспромхоза составляли всего около трехсот тысяч гектаров. Мы разговаривали на эту тему с директором леспромхоза Анатолием Иннокентьевичем Афанасьевым. Тот соглашался с нами, что в настоящее время промышленные запасы кедра в Горной Шории катастрофически подорваны и восстановление их связано с большими затратами и трудностями, к тому же на это уйдет много времени.

— А с нас требуют план, — сокрушенно разводит он руками при разговоре. — И план этот с каждым годом повышается. Его на елках-палках не вытянешь...

Вот и трещит и хрипит кедровая тайга под натиском современной техники, и валяются наземь со смертельным стоном кедры-исполины.

Для нас очевидно: для того, чтобы в ближайшем будущем решить проблему хотя бы частичного восстановления запасов кедров в Горной Шории, надо как можно быстрее и надолго прекратить всякую вырубку этого дерева. Уповать только на естественный процесс восстановления кедров не приходится — требуется большая работа по искусственному лесоразведению их на местах вырубок.

3

Горная Шория располагает большими запасами лекарственных растений, среди которых особое место занимают маралий корень (леuzeя сафлоровидная), золотой корень (радиола розовая) и многие другие. Два названных вида обладают женьшенеподобными свойствами и являются ценным лекарственным сырьем, в котором испытывают острую нужду наши больницы, клиники и аптеки. Но, к сожалению, заготовка этого сырья отдана, как правило, на откуп случайным людям, не соблюдающим правил добычи лекарственных растений. Это ведет к подрыву их промысловых запасов. Для нормального возобновления и поддержания на определенном уровне численности этого вида женьшенеподобных нужно на каждом квадратном метре площади их распространения оставлять не менее двух-трех цветущих растений.

Плачевную картину представляют собой склоны горы Мустаг — основного места произрастания маральего корня. Здесь эти растения выкапываются подчистую. При такой постановке дела заготовки лекарственного сырья в Горной Шории в ближайшее время маралий и золотой корень станут редчайшими растениями.

Сам по себе растительный мир Горной Шории уникален, так как содержит реликты третичного периода (ли-

па, европейский копытень и др.), образующие местами чистые насаждения. Яркое свидетельство этого — знаменитая Кузедеевская липовая роща. Эти уголки естественной истории до сих пор ждут своих исследователей и требуют самого терпеливого отношения к ним и, конечно, планомерного и вдумчивого изучения.

4

Нельзя сказать, что горношорская тайга одно из самых излюбленных мест для лосей. И все-таки его здесь немалое количество. Но промысел этого крупного животного в Горной Шории контролируется пока очень слабо. Особенно в глухих, труднодоступных уголках, где местное население — шорцы — зачастую добывают лосей без соблюдения сроков охоты и норм отстрела, а подчас и запрещенным способом. Много зверя — даже трудно назвать хотя бы ориентировочную цифру — добывается весной, когда охота категорически запрещена. Именно в марте-апреле, когда на глубоком снегу образуется ледяная корка (наст, или по-местному — чарым), лось совершенно беззащитен, и охотники-браконьеры легко настигают его на лыжах. Дело доходит до того, что вконец измученного лося выгоняют к дорогам и уничтожают его, иногда даже без применения огнестрельного оружия.

Не лучшим образом обстоят дела и с бурым медведем, численность которого медленно, но верно, снижается. Уже давно в печати поднимается вопрос о запрете охоты на берлогах, так как в это время года бурый медведь особенно уязвим. Видимо, наступили уже сроки, когда нужно ставить вопрос о круглогодичном запрете всякой охоты на этого зверя.

Существует мнение, что акклиматизированная в Горной Шории американская норка не везде пошла на поль-

зу местной фауне, то есть: из-за конкуренции на почве питания и как хищник она способствовала сокращению численности других полезных видов. Тем не менее, этот ценный охотничье-промысловый зверек составляет значительный процент в общем балансе заготавливаемой пушнины. Если учесть, что норка никогда не обитает далеко от воды, то станет очевидным — вред, ей приписываемый, значительно преувеличен.

По данным заготовительных организаций и опросам охотников-промысловиков, в Горной Шории снижается численность другого ценного зверька — соболя. Происходит это по целому ряду причин, главные из которых — сокращение и оскудение кормовой базы (вырубка кедров) и бесконтрольный промысел. Участились случаи сбыта пушнины на «черном рынке» и среди охотников-профессионалов, и среди любителей.

Разбазариванию этих ценных природных ресурсов способствует чрезвычайно слабый егерский надзор. В глухих уголках он вообще отсутствует, а ведь промысел норки и соболя идет именно в отдаленных от крупных населенных пунктов местах.

В этом случае хотелось бы сказать и еще об одном: несмотря на то, что в нашей области была проведена широкая кампания по учету и регистрации огнестрельного оружия, до сих пор население располагает немалым количеством неучтенного оружия, в том числе и нарезного.

5

Характер ландшафта Горной Шории (гористая местность, отсутствие стоячих водоемов и обширных болот) ограничивает как качественно, так и количественно местную фауну водоплавающих птиц. Через Горную Шорию не пролегают и основные пролетные пути

гнездящихся на севере уток, гусей, куликов и других видов птиц. Однако весной и осенью число водоплавающих и куликов здесь заметно увеличивается за счет второстепенных пролетных путей и случайных залетов северных видов. Но больших скоплений они не образуют и пребывают здесь короткое время. Это прежде всего относится к таким видам, как кряква, чирок-свистунок, свиязь, широконоска, шилохвость, хохлатая чернеть, гоголь, большой крохаль, лысуха, турухтан, круглоносый плавунчик и другие. Авторам этих строк не один раз приходилось видеть, как местное население отстреливало во время весенне-осеннего пролета этих птиц, хотя охота на них в условиях Горной Шории должна быть запрещена круглый год.

Природные условия и климат этого края позволяют или, вернее сказать, позволяли в недавнем прошлом обитать довольно значительному количеству боровой дичи — рябчикам, тетеревам, глухарям. Сейчас численность тетеревов и глухарей здесь заметно уменьшилась. И вот почему. Во-первых, резко сократились посевные площади зерновых культур, а, значит, ухудшились возможности птичьего пропитания, во-вторых, серьезный урон пернатому государству нанесли бесконтрольная охота, всякого рода браконьеры и другие любители дичинки. Рябчик в меньшей мере пострадал от этого зла, а вот его более крупные собратья — тетерева и глухарь, прямо скажем, попали в незавидное положение, и, на наш взгляд, в горношорском регионе они должны быть объявлены лицензионными видами.

Губительно отразилась на птичьей поголовье сплошная вырубка сосняков и кедров — основных мест обитания боровой дичи.

Фауна Горной Шории примечательна редкими видами птиц и млекопитающих, которые требуют всесторонней

охраны и самого пристального изучения. Разве не являются украшением природы черный аист, удод, оляпка, иглохвостый стриж?

А сколько загадок таит в себе алтайская пищуха, обитающая в каменистых россыпях (курумниках), численность которой подвержена резким годовым колебаниям? Если в 1974—1975 годах этот зверек, относящийся к отряду зайцеобразных, встречался довольно часто, то в последние два года исчез здесь почти повсеместно.

Очень слабо изучены хищные птицы Горной Шории, очень мало мы знаем о фауне рукокрылых, которые играют в биоценозах далеко не последнюю роль.

6

Невозможно обойти молчанием уникальную ихтиофауну Горной Шории, в которой особое место занимают лососевые рыбы — хариус, ленок и таймень.

Ни для кого не секрет, что за последние годы заметно поубавилось рыбное богатство рек Кузбасса. Разумеется, одной из главных причин этого являются загрязнение водного бассейна различного рода промышленными сбросами и молевой сплав леса. Но если в этом деле сейчас наводится кое-какой, но все-таки порядок, то до устранения многих других причин оскудения рыбных запасов, кажущихся, на первый взгляд, второстепенными, у нас пока еще не доходят руки.

В этом очерке мы не ставим перед собой задачи хотя бы даже поверхностного исследования факторов, влияющих на уменьшение рыбных богатств нашего края. Нам бы хотелось поговорить только об одной стороне этого вопроса: о том, насколько разумно мы умеем пользоваться дарами природы. Да, природа, особенно наша сибирская, баснословно богата. Но нет на свете такого богатства, которое нельзя

не пустить по ветру, если быть транжиром и мотом. Если очень поусердствовать, то можно все извести под корень: и кедровую тайгу, и цветы на лесных полянах, и красавца тайменя, и самого мелкого пескаря.

Давайте поговорим хотя бы о таймене. Эта ценная лососевая порода рыб, если не принять в ближайшем будущем мер по ее сохранению, будет в скором времени в наших реках такой же редкостью, какой уже стал сейчас осетр. Правда, перед осетром у нее есть преимущество: таймень рыба не промысловая. Ее, как говорится, нелегко взять оптом. Места, в которых она обитает, как правило, трудно доступны. Таймень любит горные порожистые реки, там его не вдруг-то возьмешь неводом или другой истребительной снастью. Но находят управу и на него. Стоило, например, появиться железной дороге, идущей вдоль верхнего русла Томи, и в этой когда-то богатой рыбной реке все реже стал ловиться таймень. В среднем и нижнем течении Томи вылов его сам по себе уникален, а что касается верховий реки, то о них хочется сказать особо.

Четыре года назад с группой друзей мы предприняли путешествие на надувных лодках чуть ли не от истока Томи до Междуреченска, до места, где Томь практически кончается как горная река. Предполагая, что будем плыть по самым что ни на есть тайменным владениям, мы захватили с собой спиннинги. Но нас ожидало глубокое разочарование. За двенадцать дней путешествия мы сделали не одну сотню забросов, перепробовали разные блесны, но остались без добычи.

Можно, конечно, обвинить нас как спиннингистов в низкой квалификации, но дело, очевидно, было не только в этом. Большая часть верховий Томи, особенно та, что идет возле железнодорожного полотна, напоминает свалку. Она буквально забита ржа-

вым железом, мотками проволоки, обломками рельсов, шпалами, полуразрушенными, а зачастую и целыми бетонными конструкциями. В общем, нашим блеснам было за что зацепиться, кроме тайменя.

И что в этом самое непоправимое, так это то, что весь этот отравляющий воду хлам находится в местах нереста лососевых рыб, или, как нам подумалось, теперь уже в бывших местах нереста.

Подпускают сюда свою мутную струю и разного сорта мелкие промышленные установки и грунтоковырялки. Так что ищи, таймень-рыба, места потише да воду почище. А где они, эти места?

7

Пока еще есть такие места в Кузбасе. И находятся они все в той же Горной Шории. Одним из таких мест является приток Томи — река Мрассу.

Длина Мрассу более трехсот километров. Она берет начало в отрогах Абаканского хребта и рассекает надвое всю Горную Шорию. Эта река как бы самой природой определена своеобразным убежищем для лососевых рыб — хариуса, ленка и тайменя. Вся верхняя ее часть (а она наиболее протяженная) огорожена горными цепями, местность здесь малонаселенная, дорог в эти края почти нет, а если и есть, то они неудобны для автотранспорта, а что касается водного пути, то в срединном своем течении Мрассу перекрыта шестикиллометровым Хомутовским порогом, практически непроходимым для моторных лодок. Последнее далеко немаловажно: не зря говорят, что личный транспорт, будь то автомашина или моторная лодка, нанес поистине сокрушительный удар по рыбным богатствам наших рек. Особенно он ощутим у нас, в Сибири, где расстояния зачастую слу-

жили существенным препятствием даже для самых расторопных рыболовов-промысловиков.

Так вот Мрассу в силу своего географического положения до последнего времени была и, смеем надеяться, будет впредь своего рода заповедником для сибирского лосося. Хотя живая действительность уже сейчас внушает самые серьезные опасения в этом.

8

Горная Шория пока не стала ни всесоюзной здравницей, ни местом организованного отдыха даже самих кузбассовцев, хотя последнее, по крайней мере, выглядит странным. Подобного места днем с огнем в других краях ищи — не найдешь. Конечно, курортное освоение края сопряжено со многими трудностями: места труднодоступные, в самые глухие районы посуху добраться почти немислимо, да и на путешествие сюда по воде не всякий отважится. Затраты, разумеется, на это освоение потребуются немалые. И все-таки в наш век, при наших возможностях преодоление трудностей такого порядка не выглядит устрашающим.

Ну, а пока вопрос о горношорской курортной базе остается открытым, этот робинзоновский уголок отдан во власть туристов и просто тех, кто дорого ценит единение с природой, целебный горный воздух, настоящий на аромате таежных трав, буйство речных перекатов и ни с чем не сравнимую рыбалку-охоту на хариуса и тайменя.

Так вот о туризме. Он в этих местах с каждым годом становится все более массовым. И, как правило, неорганизованным. В большинстве случаев сюда приезжают на свой страх и риск группы людей без всякой предварительной подготовки и контроля со стороны туристских организаций. Мы не

хотим сказать, что все эти люди ведут себя на берегах горных рек так, как им вздумается, но от бесконтрольности до бездумности и распоясанности зачастую, к сожалению, бывает только один шаг.

Сколько раз нам приходилось наблюдать многочисленные стоянки таких горе-туристов, вокруг этих мест все пожжено и порушено, сами стоянки захламлины и вытоптаны так, будто здесь долгое время паслось бизонье стадо.

Как знать, может быть, оставленный костер или окурки, бездумно брошенный туристом, стали причиной пожара, который уничтожил пихтово-кедровый лес по правому притоку Мрассу — Айзасу от устья на двадцать километров по его долине.

Долина реки Мрассу — это мощный карстовый район с многочисленными пещерами, многие из которых легкодоступны и посещаются туристами. Такие посещения частенько тоже не проходят бесследно для микроклимата этих природных убежищ — основных мест обитания летучих мышей, способных переносить суровую сибирскую зиму только при определенных микроклиматических условиях. Кроме того, в пещерах могут находиться кости исчезнувших животных, возможны наскальные рисунки и предметы обихода древнего человека. А это уже само по себе представляет огромную научную ценность и нуждается во внимательном изучении компетентными людьми.

Палеонтология Горной Шории по сути дела еще не изучалась всерьез. Например, в районе станции Кузедеево на берегу Кондомы есть выходы девонских брахиопод. Ценнейший научный материал, в буквальном смысле слова, валяется под ногами, его разбирают на сувениры случайные люди. Давно пора объявить это место памятником природы со всеми вытекающими из этого последствиями. А сколько

еще таких неизвестных редкостных мест в Горной Шории?

Организованность туризма будет способствовать выявлению и сохранению памятников природы этого края. Надо совершенно исключить возможность посещения этих мест людьми случайными, равнодушными к природе. Для этого достаточно в поселках Спасске и Усть-Кабырзе — в основных перевалочных пунктах туристов — создать посты наблюдения, предварительно проведя широкую разъяснительную работу среди школьников и студентов южных районов области.

9

Были у нас на таежной тропе встречи, которые начисто стирали всякую лирику в наших сердцах, а глаза застилали яростью и жадной отмычкой. Иногда это были встречи с людьми — врагами всего живого в природе, а чаще — встречи с черным, а то и кровавым следом этих людей, которых почему-то окрестили звучным, но не точным словом «браконьеры».

Да, они проникли и сюда. И не ползком на брюхе через горы и речные перекаты, а чаще всего на самых современных видах транспорта, вплоть до вертолетов.

Вот мы идем следом одного из них. Идем с удочками-двухскладушками, продираемся сквозь прибрежные заросли небольшой речушки Кизас — притока Мрассу. Останавливаемся у редких омутов, забрасываем удочки, ждем поклевки. Десять минут, двадцать — напрасно. Не шелохнется медленно плывущий по струйке поплавок. Присаживаемся на валуны, и тут же наши взгляды натыкаются на обожженные клочки запального патрона. Все понятно — взрывчатка. У следующего омута — то же самое. И так на протяжении почти двух километров. Сколько же рыбы надо было этому

матерому хищнику, если он поднял аммоналом на дыбы больше десятка омутов, уничтожив в них все живое?

Известно, что во взорванном омуте рыба не живет несколько лет. А если это так, то какой ценой должен платить браконьер за эти злодеяния?

Нам приходилось разговаривать об этих грязных делах со старожилом этих мест Владимиром Семеновичем Шалтрековым. Он с большою душевной рассказывал, что на притоках Мрассу да и на самой реке частенько «озоруют» (мягко сказано!) не только профессиональные браконьеры, но и работники геологических партий, у которых есть доступ к взрывчатке. А ведь за это, надо полагать, существует наказание по статье уголовного, а не морального кодекса.

Применяют браконьеры еще, пожалуй, более варварский способ для вылова, а точнее, для уничтожения рыбы — травят ее хлоркой. К этому, как нам известно, причастны и некоторые местные жители. А уж им-то ли не хватает рыбы в этих богатейших местах? Так, только в прошлом году были вытравлены большие участки двух притоков Мрассу — Калзаса и Бугзаса.

Как правило, эти отдаленные от населенных пунктов места пока еще слабо или совсем не контролируются работниками рыбоохраны, охотнадзора и участковыми уполномоченными милиции. Их шахты невелики да и профессиональная ответственность этих работников в некоторых случаях оставляет желать лучшего.

Рыбинспекция на Мрассу еще только-только начинает браться всерьез за браконьеров, и, наверно, следовало бы ей пожелать большей расторопности и принципиальности в отношении к злостным нарушителям правил рыбной ловли и охоты.

Возможно, есть смысл в качестве эксперимента на год-два запретить

всякую ловлю рыбы, в том числе и на удочку, на время весеннего нереста лососевых во всех притоках Мрассу. Сроки этого запрета будут зависеть от хода весны и должны определяться на местах специалистами. Это даст возможность беспрепятственно и с максимальной эффективностью осуществить нерест лососевых, а следовательно, в короткий срок поднять их сильно подорванное поголовье.

Возможности искусственного разведения лососевых в условиях Горной Шории в ближайшие годы, вероятно, исключены, но над этой проблемой стоит подумать уже сейчас.

10

Мы теперь все чаще стали задумываться над проблемой «Человек и природа», больше говорим об этом. Мы владеем достаточным набором горьких фактов, которые заставляют нас делать определенные выводы, принимать конкретные меры. Государство тратит большие деньги на спасение природных богатств.

Но все это будет полумерами до тех пор, пока все мы и каждый человек в отдельности не почувствует настоящей ответственности за все то великое добро, которым предлагает пользоваться нам природа. Мы должны научиться пользоваться этим добром разумно и совестливо.

Уже давно напрашивается вопрос о создании заповедника на территории Горной Шории, потому что по уникальности флоры и фауны ей нет равных в Западной Сибири. Где конкретно будет находиться этот заповедник, каковы будут его границы — должны определить специалисты. Не последняя роль в решении этой сложной задачи должна сыграть и общественность. Иначе жемчужина Кузбасса — Горная Шория — утратит со временем уникальность своей природы.

Слово—критике

В. Вешняков

«ВЕТКА РЯБИНЫ»

Рассказы Петра Шмакова

Сборник рассказов кузбассовца Петра Шмакова «Ветка рябины» выпущен издательством «Современник» в серии «Наш день».

Первая книга — всегда ожидание. Состоится ли встреча с интересными героями, а стало быть, с интересным автором? Прибавится ли новый, самостоятельный голос к многозвучию голосов нашей литературы?

Давайте познакомимся с темами и образами прозы молодого автора.

Герои Петра Шмакова. Одни идут к читателю из далекого военного детства, другие живут и трудятся сегодня. В некоторых рассказах сделана попытка дать обобщенный образ представителя современного поколения. Писатель поселил этого человека в сельской местности, наверное, потому, что автору ближе эта сторона жизни.

В нескольких рассказах решаются темы морально-этического плана. «Наследники», например. Вдовый пенсионер Купцов надеется соблазнить зятя Костю перспективой променять интересную работу монтажника-высотника на меркантильную возню с собственными вареньями-соленьями. Главное — устроиться в жизни так, рассуждает он, чтобы «деньга к деньге липла». Купцов убеждает зятя с дочкой:

— Оставайтесь! Не пожалеете. «Волгу» возьму вам, на курорты хоть каждый год... Наследниками будете...

Но все дело в том, что духовного наслед-

ства Купцов оставить детям не может. Слишком узок его своекорыстный мирок, в котором первостепенное место занимает собака Дозор, и то как страж усадьбы, а не как живое существо. Потому обреч себя старик на одиночество.

Веселого, влюбленного в жену шофера Кольку («За освещенными окнами») дальний родственник пытается втянуть в махинации. Предлагая ему деньги за ловко сбытый товар, бригадир Геннадий Филиппович тоже советует: «на книжечку их». Честный Колька, конечно же, отказывается.

Читая эти рассказы, невольно ощущаешь заданность. Зло и добро аккуратно расставлены по своим местам. Автор как бы опасается, что мы черное спутаем с белым. Носители негативной морали у него ясны с первого взгляда. Потому сопротивление им заранее обеспечено. И — вполне по правилам схематизма — нравственные антиподы, не успев втянуться в конфликт, уже разведены по исходным позициям.

Только в одном рассказе, «Осенний отпуск», подобная проблематика озарена художественной находкой. Сюжет его прост: приехали в деревню молодые супруги. У Лиды здесь мать, которую она хотела бы взять с собой в город. Но мужу это не подходит. Он идет в магазин, покупает теще подарок. Новый радиоприемник «Рекорд».

— Теперь, мамаша, весь мир вместится у вас в избе...

Удачная деталь: на наших глазах произведена подмена, вместо большого мира семьи, где матери Лиды была бы обеспечена спокойная старость, зять «дарит» другой мир, заключенный в этом говорящем приборе. Но это и все, что удалось автору образно показать. Остальное — простое «обсказывание» житейского случая, где позиции героев комментируются не лучшим языком. Вот как, к примеру, рассуждает Дмитрий Сергеевич: «Ему представилась вечеринка в его городской квартире. Собираются историки, химики. Люди все модные и культурные. И вот среди этого общества путается старушка седая и невзрачная. Совсем она чужой человек для него».

Пожалуй, наиболее удавшимися вещами книги получились рассказы о детстве. И не беда, что об этом уже написано и пишется много.

Все просто: П. Шмакову не пришлось тут придумывать, подключать добавочную «тягу» воображения.

Особенно запоминается коротенький — буквально в три странички — рассказ «Хлеб». Чем он привлекает? Своей неизощренной простотой, грустной интонацией воспоминания. Вот где удалось автору именно показать событие, почти не рассказывая о нем впрямую. А событие это заключается в том, что раненый фронтовик из магазинной очереди преподал урок высокого гуманизма.

Имя этого человека даже не названо. Это обобщенный образ фронтовика. Мы видим его не в бою. Он не говорит ни слова. Но он воюет. За то, чтобы полуголодный мальчишка получил свой хлеб. Потому что этот мальчишка — сын бойца, который сейчас на фронте делает неимоверное дело. Фронтовик отдает свою очередь пареньку, словно заслоняет детство от беды, то есть как бы продолжает защитительную миссию, которую выполнял на войне.

Лаконично и выразительно написана ключевая сцена рассказа. «В то время и вышел из очереди тот человек. Лицо темное, с синими крапинками и замкнутое. Молча подошел ко мне, взял за шиворот, провел куда-то вперед и поставил в свою очередь. Никто рядом не

проронил ни слова... Он молча зашагал в конец очереди, и я потерял его из виду. И еще помню на его порыжелой гимнастерке две большие медали».

В рассказе «Вьюжная ночь» подростка спасет от стужи безвестный старик. И читателю вновь вспомнится тот молчаливый фронтовик. Директор совхоза («Горбач — наш друг») разрешает ухаживать за лошадью, которая «с фронта списана», и это тоже станет одним из отрадных воспоминаний трудного детства.

Но не только такие воспоминания остались в душе героя П. Шмакова. Даже годы не ослабляют неприязни к человеку, который за горсть муки выменял у мальчишки единственную радость — любимых голубей (рассказ «Сизари»).

Я хочу сказать, что творческий успех приходит к автору тогда, когда ему удастся наполнить рассказанные истории определенным нравственным смыслом. Возможно, все дело тут в теме, которая сама обжигает, заставляет нас сопереживать.

К сожалению, большинство вещей сборника разочаровывает нас. Прежде всего, с точки зрения проблематики. Чаще всего в ней видится благой замысел, не более, в то время как содержание мелко, не отражает современных явлений и процессов жизни, несет в себе ординарную мысль.

Вот, к примеру, рассказ «Синее-синее»... На первый взгляд, тема самая что ни на есть актуальная. Механизатор просится из колхоза в город, у него талант художника. И бригадир Жариков, уверовав в иное предназначение Мишки Кочеткова, отправливает его у председателя:

«Сергей Михайлович, хорошо, что на земле есть должности (?), которые могут заставить человека враз возмечтать о самом простом, о речке твоего детства, о синем-синем небе над тобой... Вот у Мишки и есть такая профессия...»

Подумаем вот о чем. Сложный вопрос «молodeжь и село» автор сводит к частному факту. Ведь никто не спорит, что «на художника» можно учиться только в городе. Такие, как Кочетков, покидают село, и тут нет вовсе конфликта. Конфликт, пожалуй, в другом, когда

уезжают, изменяя своему призванию, не прирастают ни к селу, ни к городу. Между тем, статистика и социология отмечают: в последние годы наблюдается обратный процесс — молодежь закрепляется в сельской местности.

Но дело даже не в современном или несовременном повороте темы (хотя и это много говорит о творческих возможностях, об умении писателя мыслить, знании жизни и т. д.). Ряд рассказов П. Шмакова попросту представляют собой зарисовки. Лишь внешними признаками схожи они с литературой. Читаешь, скажем, «Сережкино путешествие» и ждешь, когда же автор выскажет свою заветную художническую мысль. Долго и подробно описывается, как маленький герой прожил один день своего военного детства. Стало быть, стояла задача — исследовать внутренний мир ребенка. Исследования-то и нет, иначе была бы хоть какая-то находка. Видишь, ничего нового не прибавляет здесь автор к тому, что сказано в других «детских» рассказах.

Описательность страдает и рассказ «Молодец, Шведова!». О чем он? Возвращаются с инкубаторной станции зоотехник Николай Петрович и колхозный шофер Шведова. Попадают под дождь на раскисленной дороге. Когда машина засела в грязи, девушка-шофер проявила находчивость: сходила за брошенным трактором, вытянула машину, а потом пешком возвращается домой. Навстречу — искать ее идет зоотехник. Ни о чем интересном герои не разговаривают, люди эти в конце повествования так же не раскрыты перед нами, как и в начале рассказа. Для чего же тогда он написан? Наверное, ради единственной обыкновеннейшей фразы, давшей заголовок этой вещи. «Ты молодец, Шведова!» — говорит ей зоотехник. Ну и что, недоумевает читатель. И невольно думает уже о другом.

А он, зоотехник, совсем не молодец, не помог уставшей девушке отогнать трактор обратно. Они везут ценный груз — живых цыплят. Может, при разгрузке Николай Петрович был нужнее? Оказывается, нет. «Их ждали, — пишет автор. — От крылечка кинулись к машине четыре птички, а за ними заведующий фермой Сергей Сергеевич».

Конечно, автор делает это ненамеренно. Все

происходит оттого, что материал не подвластен пишущему. В рассказе «Ветка рябины» весь смысл держится на одной малооригинальной детали. Девушка говорит влюбленному в нее парню Володьке:

— И почему это, Володь, человеку всегда хочется того, чего у него нет?

— А чего тебе хочется? — спросил Володька.

— Чего? Сама не знаю. Ну вот, хотя бы ветку рябины.

Герой идет в соседний поселок, где в палисаднике друга растет искомое деревце. В жизни, в общем-то, встречаются даже более яркие романтические случаи, есть натуры с более возвышенными чувствами. Но то жизнь. А от литературы ждешь не фотографического повторения. Важно ведь убедить, мотивировать поступки описываемых людей. Искренность чувств показана у Петра Шмакова плохо. Чего стоит объяснение друзей: «Перед ним стоял Мишка Фатеев, громоздкий (это о человеке, не о шкафе сказано — В. В.), высокий, в костюме нараспашку.

— Ба! Да это, никак, сам Володимер, ясно солнышко?! Откуда, с какой планеты?

— Я, Миш, к тебе по делу. Понимаешь, ветку рябины надо».

Жаль, что автор не почувствовал, как одной деталью речи, одним выражением — герой идет «по делу» — он сразу снизил образ влюбленного юноши. О сложностях человеческого чувства писать нелегко. Наверное, поэтому и другой рассказ на тему любви, «Ленка», тоже не получился. Слишком уж серым, неинтересным языком передает Шмаков чувства и мысли своих героев.

Приведу лишь один отрывок, где отразилась стилистическая манера автора. Объяснение в любви Ленки к своему избраннику звучит так:

«Облака совсем похожи на острова. Это еще не открытые острова. Мы их сейчас открываем. Мы открыватели. Может, в этом и есть счастье человека, что он открывает острова. Свои острова. Умеет их открывать. Умрет человек, а над ним все так же будут плыть острова. Наверное, будут помнить о человеке, что любовался ими. Может, оттого они такие и грустные и печальные, что часто расстаются с людьми. Ведь терять человека всегда грустно...

А находить радостно. — Ленка помолчала, повернулась к Юрке и вдруг расхохоталась».

Тяжелый слог, что и говорить (да еще в устах влюбленной девушки).

Слово — главный инструмент литературного творчества, — судя по всему, не послушно Петру Шмакову. Это тот случай, когда даже сильное редактирование не спасает. Кстати, в рассказах, которые удались (их немного), шероховатости языка тоже есть. Большинство же написаны какой-то бесплотной прозой. К тому же автор не выработал своей формы изложения. В большом количестве натыкаешься на часткол «рубленных» фраз, это так называемый «телеграфный» стиль, каким увлекались лет пятнадцать назад молодежные газеты. Довольно крупный недостаток рассказов П. Шмакова — схематизм образов. К тому же вялый описательный, неточный и неживописный язык. Все это не может не оставлять у читателя безотрадного впечатления от прозы молодого автора.

Под конец хочется привести еще один пример. Он, по-моему, подтверждает: чем выше и сокровенней мысль, тем художник должен уметь ярче и образней ее выразить. В рассказе «Родительская земля» герой размышляет о том же, о чем думали и другие сельские герои П. Шмакова: о духовной связи с родной стороной и силе, которую дает эта связь. Но вот как об этом, в сущности главном, сказано: «Наверное, и вправду, где родится человек, то вечно будет связан с тем местом пуповиной. От нее будет сил набираться, где бы он ни находился, лишь бы не терял связи».

Да, о главном автор не смог сказать своему. Сам того не желая, сказал неверно. В литературном смысле беспомощно.

Закрываю книжку нового автора. Обидно, что встреча была столь неинтересной. Маленькие удачи не доставляют большого удовлетворения. К тому же, учтем, что это дебют, в котором обычно полнее всего раскрываются как сильные, так и слабые стороны дарования»

Владимир Кузнецов

ЭТОТ КАПРИЗНЫЙ ЖАНР

*(Заметки о сборнике рассказов писателей Кузбасса
«Смотрю в твои глаза»)*

За последние годы читательский интерес к малому жанру беллетристики — рассказу — вырос, и, прямо скажем, очень заметно.

На наш взгляд, две, взаимосвязанные и обуславливающие одна другую, причины способствовали развитию этого интереса. Во-первых, рассказ, что называется, резво «потянулся» за нашей быстротекущей жизнью; во-вторых, в жанре рассказа мы получили обильную «продукцию» со знаком качества — произведения В. Шукшина и В. Белова, В. Астафьева и Е. Носова, Ф. Абрамова и Ф. Искандера... И еще доброго десятка других очень известных и менее известных пока прозаиков.

Не этим ли высоким авторитетом рассказа среди читателей продиктован и возросший интерес к теории жанра у наших признанных мастеров «малой» прозы? (Здесь мы имеем в виду прежде всего литературоведческие работы последних лет С. Антонова и С. Залыгина.)

Так это или не так, а рассказ сегодня, пожалуй, самый любимый жанр художественного самовыражения. Естественно, речь идет о таком самовыражении, которое социально значимо, созвучно жизни, реально, критически аналитично... И, конечно же, облечено в доброту «скроенную» форму. Ибо, как говорил

В. Шукшин, рассказ — самый капризный жанр беллетристики.

...Тринадцать авторов, кузбасских писателей, собрались под одной «крышей» — в сборнике рассказов «Смотрю в твои глаза», выпущенном в нынешнем году Кемеровским книжным издательством (составитель Л. Глебова).

Различен жизненный опыт и писательские судьбы каждого из тринадцати авторов. Различна, естественно, их творческая индивидуальность: каждый видит жизнь под своим углом зрения, каждый трансформирует ее в образах на свой лад и манер. И у каждого, конечно же, есть своя избранная, любимая тема.

Человек и работа, человек и долг, человек и совесть, человек и природа... Взаимоотношения людей в различных жизненных ситуациях: дружба, любовь, сыновнее прозрение памяти, трезвый самоанализ души, муки раскаянья. Человек среди людей: человек добрый и злой, человек великодушный и завистливый, человек смелый и трусливый... Вот далеко не полный круг тем, нашедших отражение в более чем двух десятках рассказов вышедшей книги.

Но это, так сказать, общие, внешние, что ли, приметы сборника. Важно сразу же подчеркнуть и другое: герои большинства рассказов — люди умные, думающие. А с такими людьми интересно иметь дело; они обогащают тебя, заставляют с пристрастием оглянуться вокруг, не пройти мимо подлости и несправедливости, не прикусывать языка там, где надо кричать во весь голос. Они, эти герои, заставляют заглянуть в себя — такова сила положительного примера.

Их много, частиц этой силы. Это и Мишка Крестьянинов из рассказа В. Чугунова «За черными розами», и Прохор Ломов (О. Павловский, «Мосток через Итедь»), и дед Самоя (В. Измайлов, «Закон тайги»), и Димка Оноприенко (А. Волошин, «Смотрю в твои глаза»), и Игорь Витальевич (Е. Дубро, «Отвесно падали дожди»), и солдатка Мария и геолог Заварзин из рассказов В. Мазеева «Черемуховые холода» и «Странная командировка», и многие другие...

Галерея положительных (хотя порой и противоречивых по характеру, что вполне естест-

венно) образов — это галерея героев наших дней. Все они несут в себе те высокие нравственные начала, которые заложила и развила в них наша жизнь, наша действительность.

Все они граждански активны, действуют смело, без оглядки, сообразуясь с собственной совестью. Не каждому из них жизнь отвела «место для подвига». Но каждый готов совершить этот подвиг — большой или малый, на виду у всех или перед самим собой. Потому что «в жизни ужасно много неожиданного, удивительного, в жизни есть над чем подумать».

И вместе с тем, все эти герои — от мира сего, с живой душой. Они могут ошибаться и страдать, их порой легко обидеть незаслуженным упреком и подозрением, они могут служить объектом шуток и розыгрышей... Они, наконец, смертны, и ничто человеческое им не чуждо.

Положительный герой многих рассказов кузбасских писателей — не этаким ходячий эталон-штамп добродетели и добропорядочности. Это человек сложный. И там, где автору удастся уйти от схематичности в раскрытии характера своего героя, где автор верен правде жизни — там и приходит к нему успех. К одному, правда, в большей, к другому, увы, в меньшей степени. Здесь уж что от бога дано каждому...

Условно, конечно, но для удобства общего обзора (невозможно же прорецензировать каждый из 24 рассказов сборника!) произведения книжки можно классифицировать на несколько групп.

Например, рассказы о войне, или вернее: война в судьбе человека. Сюда можно отнести рассказы Владимира Власова «Замкнутый круг», Александра Волошина «Смотрю в твои глаза», Владимира Измайлова «Последняя очередь», Владимира Мазеева «Черемуховые холода». Двое первых из четырех названных авторов — участники Великой Отечественной войны, люди с богатым жизненным опытом. Им есть что сказать на избранную тему, и сказать собственным голосом. Но как сказать? — вот главный вопрос здесь, ибо ответ на него — не бесстрастная анкета, а художественное произведение.

Нам представляются малоудачными рассказы «Замкнутый круг» и «Последняя очередь», несмотря на всю их экстравагантность. Они слишком фрагментарны, это скорее эскизы к рассказам, правдивые фронтовые зарисовки. Но эта жизненная правда никак не материализуется в правду художественную, ибо нет человеческих характеров — есть только действующие лица.

Зато как заметно выигрывают по сравнению с этими двумя вещами рассказы А. Волошина и В. Мазея. Тут нет, правда, взрывов, смертельных пулеметных очередей, «раздающего» света прожекторов сторожевых вышек... Тут война на втором плане; на первом — человек, застигнутый великой бедой. И если один человек — волошинский Дима Оноприенко — в какую-то, «не очень обязательную минуту» всего лишь смутно предчувствует время великих перемен и великих испытаний, которые ждут его, то второй — солдатка Мария («Черемуховые холода») — уже сполна испила горькую чашу страданий и утрат.

Сложит ли голову на поле ратной брани Дима Оноприенко, мы не знаем (он еще далеко от передовой, той тревожной и теплой июньской ночью он еще смотрит в глаза любимой), но если сложит — нам будет жаль его... Вынесет ли Мария, коснись дело, еще один круг ада, что вынесла уже, не запятнает ли в помыслах душу свою? Вынесет! И не запятнает! Мы верим в это... Такова сила искусства слова.

...В основе рассказов двух известных кузбасских поэтов В. Баянова и В. Махалова «Нежданный поворот» и «Вражий сын» — собственные воспоминания о деревне, которую они любят, с которой так или иначе были связаны. Здесь нет никаких художественных открытий, нет занимательных сюжетов; повествование идет ровно и спокойно. Авторы чутки к русскому слову, местному диалекту (чувствуется поэтическая закуска!), скупы, но точны и ярки у них описания природы. Да и герои рассказов в общем-то простые деревенские люди; их жизнь и судьба характерны для многих сельских жителей; их заботы — это заботы их отцов и дедов; о хлебе насущном в первую голову. С годами, десятилетиями что-

то, естественно, меняется в укладе сельской жизни; этот новый уклад меняет, а порой и ломает судьбы людей.

В чем-то он еще нескладен, угловат, этот сельский житель. Но авторы любят его и не прячут эту любовь от других. Потому, видно, и рассказы их доверительны, естественно просты.

И все-таки после их прочтения испытываешь нечто похожее на неудовлетворенность. В большей степени у нас это чувство возникает при чтении довольно-таки объемного рассказа Виктора Баянова.

Собственно, о чем он, этот рассказ «Нежданный поворот»?

Да простит нас читатель за длинную цитату, но хочется привести один кусочек из рассказа, выделенный самим автором в своеобразную прозаическую цезуру. Разговор ведут главные герои рассказа — Ленья и Люба.

«— Нет, нет, Ленья. Я думаю, ты не пожалеешь, если переберешься в город. Это тебе необходимо. Я, например, не могу представить себя, сегодняшнюю, в деревне. У меня институт, драмкружок, подруги, интересные перспективы. А тут что? Нет!

Люба с Ленькой медленно шли по темной улице. Ленька не об этом привык говорить с девушками в такое время, больше молчал, подавленно чувствуя Любкино превосходство в этом, по его мнению, совсем ненужном сейчас разговоре.

— Здесь у тебя все просто, легко, привычно, — продолжала Любка, — а всякая легкость и удачливость убивают волю, характер. Первая же трудность, даже незначительная, ломает тебя.

Ленька, слушая, улыбался, но не перебивал.

— Ты представляешь, я поговорить-то не умела с людьми, когда пришла в институт. Молчала, как бука. А если что и ляпну, то обязательно невпопад. Стыдобушка! Мною, правда, восхищались: «Ах, простушка! Ах, сама непосредственность!» Но я-то теперь понимаю, что эта простота не что иное, как примитивизм и ограниченность. Вот уж правда — простота... которая хуже воровства. Один поэт сказал: «Казаться улыбчивым и простым — самое выс-

шее в мире искусство». Казаться только, но не быть. Быть — страшно... Понимаешь?

— Ну, ты это... не в ту степь. Притворщиком быть не всякий может. Поэт этот правильно сказал, а ты — по-своему все... Другой по разговорам-то ах какой умный, а на деле — пшик. Болтун и бездельник. Значит, по-твоему, и тут важно только казаться, а не быть? Не-ет, извини, Любушка-голубушка...»

Так вот разговаривают симпатизирующие друг другу он и она. Ночью, на улице спящей деревни, после танцев под гармонию. Через минуту Ленка слегка полубоится Любу; потом рывком притянет Любу и склонится к ее запрокинутому, бледному в лунном свете, странно посерьезневшему лицу.

Но у них все равно ничего не получится. Потому что Люба вскорости уедет снова в город, а впереди у Ленки — неожиданный поворот. И не куда-нибудь, а прямо... в постель к Катке Шелковой, у которой «крутые бедра», «дрожливо-полные, белые икры».

Но конфуз случился. Да еще какой! Катка-то понять дала, что не одна она стала с той бедовой ночки. «Бросаешь нас?» — спрашивает она Ленку. И муторно становится у него на душе, смятенно.

В самую трудную минуту он найдет ответ на Каткин вопрос: «Не брошу».

Но в такую минуту каждый смертный жаждет отпущения грехов. Тут автор в точку попал.

Но, может быть, и не мог Ленка ничего другого ответить? Ведь его кредо в жизни: «Надо быть честным. Всегда — честным».

Ну, а если Катка Шелкова обманула его насчет этого самого? Женщина ведь опытная, не раз замужем побывала...

Автор симпатизирует своему герою, если не сказать больше — идеализирует его, как саму деревенскую непосредственность.

Симпатизирует, но не убеждает в этом читателя.

Стоит, наверно, добавить, что и композиционно рассказ «скроен» не лучшим образом: то тут, то там проглядывают «белые нитки».

...По тематическому принципу (но опять же с большой долей условности) можно рассматривать вкупе рассказы Е. Дубро «Отвесно

падали дожди» и «Кто-то с молоточком», Г. Немченко «Последний день дома», З. Чигаревой «Маша» и «Платок для матери» как произведения морально-этического характера. Здесь, как правило, в основе рассказов не событие. Авторы изображают своих героев как бы изнутри: исследуют истоки их действий и раздумий, пытаются философски осмыслить и объяснить многое из того, что в жизни для каждого из нас примелькалось и приелось.

Делать это трудно, а порой и не благодарно (герои не всегда симпатичные люди). Но ежели успех сопутствует здесь автору, то успех этот основательный, серьезный.

Не все из вышеназванных рассказов состоялись. Нечто вроде готового рецепта счастливой жизни в труднейшей семейной ситуации «выдает» З. Чигарева в «Маше»; несколько в лоб философствует Е. Дубро в рассказе «Кто-то с молоточком». К слову сказать, именно в этих рассказах бедна у авторов и языковая палитра.

Тонким психологизмом отличаются рассказы Дубро «Отвесно падали дожди», Немченко «Последний день дома», Чигаревой «Платок для матери». В них все соразмерно, точно выверено: в рассказах действуют живые люди, каждый со своим характером. Просты и естественны жизненные ситуации героев, полно и разносторонне раскрыты их внутренний мир. Скупы порой авторские средства изображения, но они точны и, кажется, единственно приемлемы в каждом из рассказов. Литературный вкус здесь довольно высокой пробы.

Небезынтересно в этом плане хотя бы коротко остановиться на рассказе Зинанды Чигаревой «Платок для матери». Это, по нашему мнению, один из лучших рассказов сборника.

Он прост по содержанию. Его можно передать в нескольких словах: после похорон матери в комнате ее собрались дети — он и она. Разговаривают, перебирают вещи, оставшиеся от матери, разъезжаются по домам. Она улетает в Красноярск, он — через два часа отбывает поездом в Курск. Вот и все. Такова канва рассказа.

Но о чем и как разговаривают дети? Что говорят вещи, оставшиеся от матери? О чем, наконец, думает каждый из них — дочь Люба и

сын Коля — великовозрастные дети? Что уносит в душе каждый в свой дом, к своим детям? И что это значит — жить на земле среди людей?

Не спеша, деталь за деталью, словно бусинку к бусинке нанизывая на нить, автор вводит читателя в духовный мир своих героев. Нет, он не осуждает их, не пробует рассудить. Он их просто описывает. Вот Николай выдвинул верхний ящик комода матери. Люба только и спросила: «Скажи, а что ты там ищешь? Уж не думаешь ли ты найти какие-нибудь ценности?»

Они потом обнаружат эти ценности. Их будет много: фронтовые письма отца, любимые книги и непроигранные пластинки матери (не на чем было проигрывать), старые фотографии — свои и своих родителей, поздравительный адрес матери «За безупречный многолетний труд», ее учебник хирургии (не пришлось вот только учиться — одолели заботы о детях). Обнаружат они и «следы своей былой деятельности» на страницах старых книг матери: «непонятные каракули, домики с кривыми трубами, самолеты, падающие в густых клубах фиолетово-чернильного дыма»...

Они обнаружат память о матери. И материнский — да нет, не материнский даже, а укор собственной совести: целую коллекцию самых разнообразных платков — шелковых, капроновых, кашемировых и однотонных, и цветных... Это они, дети, дарили своей матери платки по праздникам и памятным датам. А она бережно хранила их, да так ни разу и не надела... И в исступлении бросит Николай сестре: «Вспоминай хоть теперь. Она же никогда не носила платков. Никогда. Она же их терпеть не могла... Она ненавидела платки... Даже зимой... в самую лютую стужу... Помнишь старую солдатскую ушанку?.. Помнишь?»

Так о чем же этот рассказ? О сыновьем долге? О материнской любви? О доброте? Порядочности? Скаредности?

О жизни! О человеке! В самом широком и мудром значении этих слов.

Разъедутся по домам дети. Люба увезет в память о матери... золотые часы «Чайка», стоимостью 96 рублей... Николай в своем порт-

феле обнаружит очередной подарок для матери — шелковый зеленый платок...

А что увезут они в душе, в сердце своем? Жестоки порой уроки жизни. Хорошо ли усвоили их герои рассказа?!

...Пожалуй, особого разговора заслуживают помещенные в сборнике два рассказа Г. Емельянова — писателя, безусловно, интересного. Оба рассказа — и «Савва Иванович» и «Чужая беда» — «сработаны» рукой опытной; Г. Емельянов чуток к слову, много работает над языком и стилем своих произведений. Его манера повествования — лаконичная, с добрым, мягким авторским юмором — подкупает. И здесь Г. Емельянова трудно спутать с другими рассказчиками.

Во многом, очевидно, это дело вкуса, но нельзя не обратить внимания на одну деталь. Тот, кто внимательно следит за творчеством прозаика, видимо, подметил, что романы более «подвластны» Г. Емельянову, нежели повести; повести же «выходят» из-под его пера более удачными, чем рассказы. С другой стороны, художественный очерк (жанр, как известно, наиболее родственный рассказу) у Г. Емельянова, ну, если не великолепен, то сделан и отшлифован до блеска.

Что это, парадокс? Вряд ли.

По нашему мнению, Г. Емельянов просто еще «не нашел» себя в рассказе. Он как бы насилует свою творческую натуру, а жанр с меньшим упорством сопротивляется. И даже если в этом единоборстве Г. Емельянов оказывается, как он любит говорить, со счетом, то «раны» его все равно кровоточат.

Не будем посыпать эти «раны» солью; давайте просто обратимся к рассказам. Они коротки и динамичны, оба эти рассказа. В «Савве Ивановиче» дело происходит в купе поезда дальнего следования. На какой-то из промежуточных станций случайно отстает от поезда молодая чета; в купе остается их девятимесячный Сашка, и волею обстоятельств роль няньки берет на себя Савва Иванович — пожилой человек. Он следует с Сашкой до Новосибирска, хотя сходить ему надо гораздо раньше. Доброе дело, словом, сделал человек; сделал просто и бескорыстно. Скромный и симпатичный этот Савва Иванович, большой души человек. Та-

ким и показан он автором. Убедительно и художественно достоверно.

Тут бы и поставить точку. Однако автор резюмирует: «В купе теперь пусто. Только на столике у окна лежит выдавший виды том «Графа Монте-Кристо» (его читал в дороге Савва Иванович — В. К.). Я возьму его с собой — в память о хорошем человеке».

Нечто подобное происходит и в «Чужой беде», и здесь автор, не полагаясь, видимо, на вкус и зрелость читателя, стремится «растолковать» ему, кто из его героев есть кто.

Это авторские «добавки» в ткани художественного произведения — как инородные тела. Естественно, автор вправе открыто симпатизировать тому или иному из своих героев. Но, согласитесь, делается это не путем выдачи суконной служебной характеристики, а несколько иначе. Так, например, как это сделано в талантливых рассказах «За черными розами» и «Локомотив» В. Чугунова или в рассказе «Трудно, парень» О. Павловского. Кстати сказать, первые два рассказа редактировал в свое время не кто иной, как Г. Емельянов. И по публичному отзыву В. Чугунова, ему «повезло на хорошего и взыскательного редактора». Почему же к самому себе Г. Емельянов порой не столь взыскателен и строг? Обидно.

...Заслуживают внимания в сборнике и рассказы молодого прозаика В. Куропатова, но он не всегда внимателен к слову.

В рассказе «У магазина» читаем: «Монахиша обиженно складывает губы трубочкой...»

В рассказе «Дьяволица» читаем: «Бабка сложила губы в трубочку...»

Позвольте, была уже «трубочка». У

Г. Емельянова. Его Савва Иванович тоже так собирал губы.

Впрочем, «повезло» не только трубочке, но и колченогому столу. В «Странной командировке» В. Мазаев «примостил» его в зимнике геологов. Ну, это еще куда ни шло. А вот зачем «переносил» его из зимника в кабинет председателя сельсовета О. Павловский («Трудно, парень») — непонятно. По старой дружбе, наверное, позаимствовал...

Не всегда, оказывается, внимателен и строгий к себе А. Волошин. В рассказе «Смотрю в твои глаза» читаем: «Шахта есть шахта, мало ли тут всяких достижений и, тем более, всяких промахов». В «Веточке»: «Шахта всегда остается шахтой, и не имеешь ты права бывать с ней на «ты».

И в том, и в другом случае текст авторский. И в том, и в другом случае пришедший газетный штамп...

А ведь литература — это искусство слова. Негоже забывать об этом.

...«В сборник «Смотрю в твои глаза», — пишет в предисловии составитель книги, — включены, на наш взгляд, лучшие из рассказов, написанных за последние годы, рассказы, создающие коллективный портрет нашего современника, человека, занятого решением многих сложных производственных и моральных проблем и живущего напряженной, наполненной душевной жизнью».

С этим трудно не согласиться. «Смотрю в твои глаза» — своеобразная антология кузбасского рассказа. Выпустив ее в свет, Кемеровское книжное издательство сделало большое и доброе дело.

Литературные пародии

Борис Рахманов

На пне

Я ночевал на пнях...

Виктор Боков

Лишь затухал денек
И опускался вечер,
Он выбирал пенек
Повыше и покрепче.
И взгромоздясь на пень,
И засыпая сидя,
Лишь зарождался день,
Был отовсюду виден.

И филин поутру
В его опочивальне
Кричал: «Вставай-ка, друг,
Здорово ночевали!»
«Привет! Ну как поспал! —
Судачила сорока,—
Покуда не упал,
Слезай, товарищ Боков!»

Рыбища

Гнет язище удилице.
Я тяну его. Тяну!
Ах, рыбацкая привычка
Привирать...
Скажу я вам,
Что попалась мне добыча
Весом в добрый килограмм.

Валентин Махалов

— Тресь!— сломалось удилице.
— Хрясь!— и леска лопнула.
Думаю... уйдет язище,
Даже сердце екнуло.
Бултыхнулся в воду храбро,
Сцапал рыбищу за хвост,
Уцепил ее за жабры —
У язя метровый рост.
Так сцепились мы друг с другом,
Тянет он... и я тяну.

Заходил язище кругом,
Он ко дну... и я ко дну.
Вынес рыбищу на берег —
Кило (может, будет) грамм.
Ну, а если кто не верит,
Посмотрите между рам.
Кот соседский всю дорогу
На окошко пялится,
Язь на ниточке,
Ей богу,
С чебаками вялится.

Аукну кукушке,
Откликнет тетеря.

Виктор Боков

Аукну кукушке,
Откликнет тетеря,
Поскольку тетеря
Кукует теперя.

Была ли ты?

Мне и сегодня неизвестно:
Была ли ты, как все, земной,
А может, призраком небесным,
Воображенным тайно мной?

Иван Полунин
«ФЕВРАЛЬСКАЯ СВИРЕЛЬ»

Мне по сегодня неизвестно:
Была ли ты,— а может, нет?
Ведь это небезынтересно,
Поскольку скоро буду дед.
С тобою был, а может, не был?
С косами ты или без кос?

Земная ты иль прямо с неба
Явилась — вот ведь в чем вопрос!
Вообразил тебя, быть может?
Но есть же теща, есть же тесть!
Вот так терзаюсь, боже, боже!
Была ли ты? Ведь дети есть!

И огляделся я. И устыдился я.
Остановились бабки и овцы у ворот,
слетелись все вороны
на мамкин огород.

Роман Солнцев
«МАЛИНОВАЯ РОЩА»

Из сундука рубаху вынул
И вышел в ней на огород.
Стал посредине, спину выгнул,
Застрекотал сорочий взвод.
Сначала я не устыдился,
Но огляделся, вижу — стыд!
Здесь кто-то также нарядился
И — руки в стороны — стоит.

Я шась стрелую к конкуренту,
Из борозды его долой.
Средь огорода монументом
Стою на грядке как герой.
Рубаха отливает медью
В местах, залатанных не раз.
Глядели с завистью соседи,
Мол, ну и пугало у вас!

г. Новокузнецк

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЬМАНАХА ЗА 1977 ГОД

НАШ СОВРЕМЕННОК

Федор Ягунов. «Семь тревожных минут». Очерк. № 4.

СТИХИ

Леонид Березин. Таволга. «Под гитару пел я с чувством...» Тайга. Здоровым быть. «Бродит в поле ночью тихой...» № 3.

Арнольд Бродский. «Деревья голосуют за весну...» № 1.

Валерий Зубарев. «Бегут с портфелями в руках...» «Если что-то не суждено...» «Свет погас...» Птичка. № 2.

Владимир Иванов. «В пору ту, когда согрета почва...» «Поздний час, тишина на дворе...» «В небе стаи курлычут прощально...» «Подобрал я ее у болот...» «И снова веселая встреча...» Приятель. «Засыпает дальний поезд...» № 4.

Игорь Киселев. Городу, в котором я живу. Дорога. «От музыки негромкой...» № 1.

Иосиф Куралов. Кот печальный и суровый. Весна. № 4.

Олег Максимов. Мое заречье. «С полсотни дворов...» «Наклонился до земли...» «Утром выглянул...» «Снегири летят с утра...» «А я опять о том...» № 1.

Валентин Махалов. «Я уходил в тайгу...» «Река в серебряном сверканье...» На рыбалке. Марьин корень. «Открой природе душу...» № 2. Хлеб-соль. № 3.

Василий Мирошниченко. Весна идет издалека. Перекур. № 2.

Семен Печеник. «Дымят дымы по всей деревне...» № 2.

Леонид Торгаев. «Мы топчем безжалостно травы...» Осенний мотив. Утро. Весна. Начало лета. № 4.

Олег Философов. «В повседневном платье сером...» Отец и мать. Лесной пожар. «Холодное гулкое утро...» № 2.

Геннадий Юров. Песня о бумажном змее. № 1.

ПРОЗА

ПОВЕСТИ

Анатолий Кругляков. Та заводская проходная... № 3.

Владимир Куропатов. Зеленый луч. № 2.

Зинаида Чигарева. Когда любишь... № 1.

РАССКАЗЫ

Владимир Власов. Игрок. № 2. Эхо. Техник Валька. № 4.

Афанасий Гуковский. Неприкосновенный Запас. № 4.

Владимир Коньков. Поехал он к Черному морю. № 2. Рябина у крыльца. № 3.

Владимир Мазаев. Багульник — трава пьяная. № 4.

Юрий Соломонов. Как шахтер дядя Федя отдыхал в Доме творчества писателей. № 4.

ОЧЕРКИ

Михаил Беркович. Чем жив человек? № 3.

Андрей Троицкий. Старейшина большевиков Кузбасса. № 3.

У НАС В ГОСТЯХ—ЛИТЕРАТОРЫ ВЕНГРИИ

СТИХИ

Лайош Папп. Их тела стали звездами. Поэма. № 4.
Ференц Ханн. Город. № 4.
Иштван Тамаш. Палоцфельд. Туманом дышат. Пузырьки. № 4.
Бела Вихар. На вечерних прогулках. № 4.

РАССКАЗЫ

Михаль Баба. Посылка. № 4.
Йожеф Пал. Люди с окраины. № 4.
Эндре Герельеш. Показанье. № 4.

ПУБЛИЦИСТИКА

Элемер Тот. Новый хозяин искусства. № 4.

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр Зайцев. Дар Самотлора (Репортаж с трассы газопровода). № 1.
Владимир Мазаев. Катакомбы. Очерк. № 2.

СТИХИ — ДЕТЯМ

Юрий Могути́н. Ингода. Звезды в котелке. Шишкопад. Два медведя. Часы. Отчего океан соленый? Комары. Обед. № 3.
Валентина Томилина. Помощница. Про рукавичку. Охота на китов. № 2.

ПРОБЛЕМА?.. ДА, ПРОБЛЕМА!

М. Кушникова. Ветвь от древа. № 1.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Р. Круссер. Продолжение борьбы. № 2.
М. Сорокин. Легенда о беловодье. № 2.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Любовь Скорик. Улыбка Вьетнама. № 2.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ

Владимир Шабалин. За свободную Венгрию. № 4.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Юрий Калягин, Валентин Махалов. Ты идешь по таежной тропе. № 4.

ИСКУССТВО

З. Естамонова. Сотворение рябины. № 2.

М. Кушникова. Это большое «малое искусство». № 3.

В. Махалов. Свет на всю жизнь (Двадцать лет на сцене в роли В. И. Ленина). № 1.

СЛОВО — КРИТИКЕ

Василий Вешняков. Ветка рябины. № 4.

Владимир Копылов. Литературы веская строка. № 3.

Владимир Кузнецов. Этот капризный жанр. № 4.

Владимир Матвеев. Смех в атаке. № 1. Где видимость? Где суть? № 3.

Иван Полунин. Дитя века (заметки о поэзии Н. Рубцова). № 1.

С. Смирнова. Чувство хозяина земли. № 2.

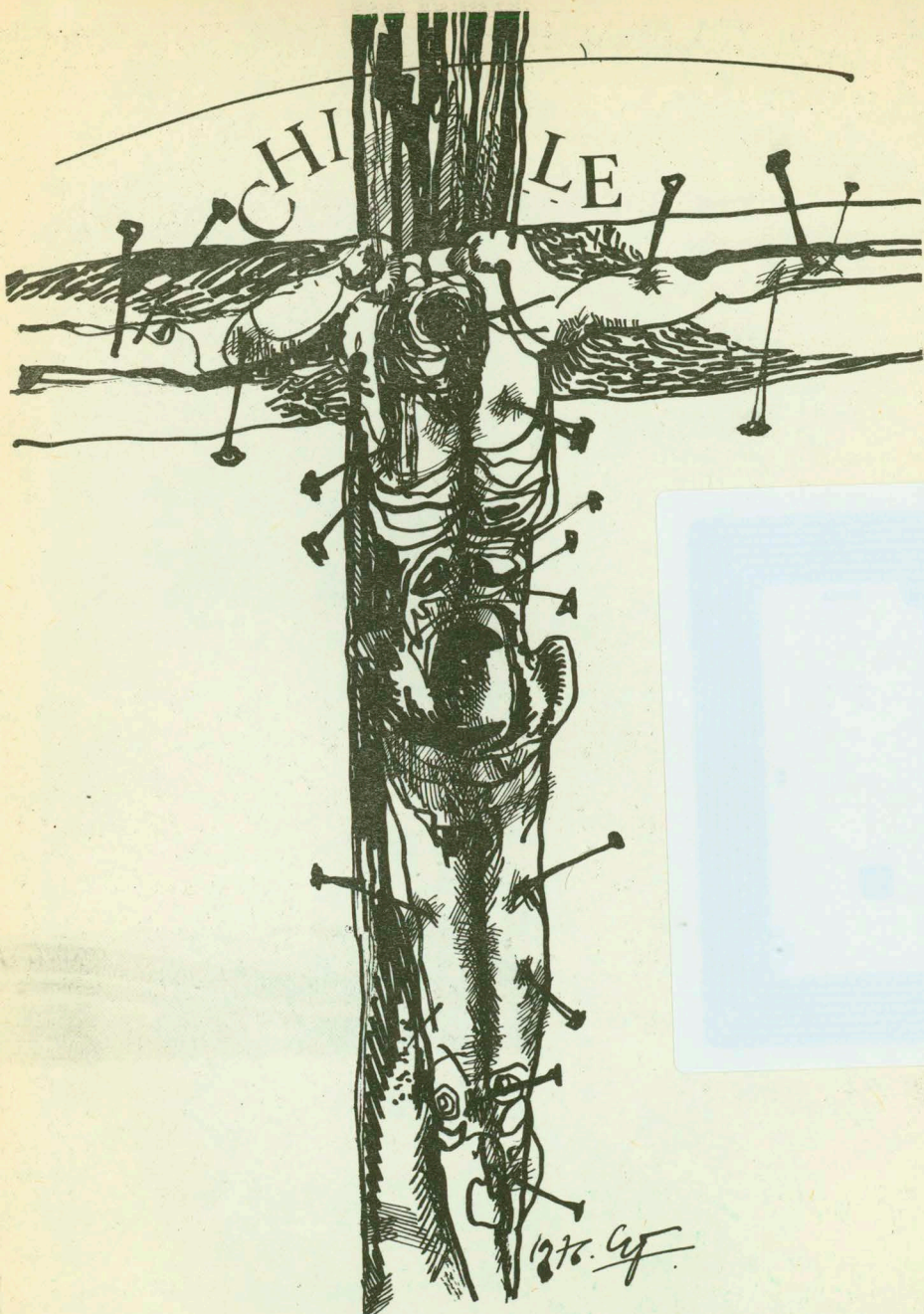
ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

Марк Твен. Всем начинающим авторам. № 2.

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Владимир Матвеев. Современная басенка. Разминка перед охотой. № 2.

Борис Рахманов. Литературные пародии № 4.



Ференц Цинке. ЧИЛИ

